
Борис КРАСИН

ПОРУЧИК Л.

Ненаписанная повесть

Модному беллетристу эта история могла послужить основой увлекательной криминальной драмы или психологического триллера. Для этого лишь нужно было ввести в сюжет несколько персонажей из числа сотрудников спецслужб и сместить акценты повествования. Большой писатель, напротив, нашел бы в ней аллегорический смысл и сочинил бы притчу о нештучных страстях, которые порой обуревают современного человека.

Но я хочу сохранить правду жизни, а она не вписывается ни в один из популярных литературных жанров. К тому же в этой истории и без нагнетания страстей не было недостатка в драматизме. Во время нашей последней встречи с ее главным героем, когда, по его словам, одной ногой он стоял в будущем, в нем чувствовалось такое смятение, внутренняя опустошенность и душевный разлад, что хватило бы на братьев Карамазовых, вместе взятых.

В молодые годы мы с ним работали на радио: Андрей — наладчиком в Доме звукозаписи на улице Качалова, я — звукооператором в старом здании Радиокomiteта на Пушкинской площади. Мы были едва знакомы и лишь изредка встречались в дни зарплаты у кассы бухгалтерии, в нашем клубе на праздничных вечерах, на комсомольских собраниях. Рослый, с умным, волевым лицом, он уже тогда казался мне не совсем заурядным человеком. В нем было что-то от обаяния персонажей, сыгранных Александром Абдуловым в фильмах Романа Балаяна «Поцелуй» и «Талисман», нечто такое, что выделяло его среди сослуживцев, — впоследствии это стали называть харизмой. Он был мне интересен, но я не решался познакомиться с ним ближе — рядом с Колчановым я особенно остро чувствовал собственную заурядность.

Когда я поступил в институт и ушел из Радиокomiteта, то потерял его из вида. Но однажды в день рождения Коли Панкротова в старой радиокomiteтской компании среди гостей я увидел Андрея. Он сам подсел ко мне за столом, завел какой-то разговор, держался просто и дружелюбно, приятно удивил живостью ума и чув-

Борис Всеволодович Красин живет в Москве, окончил 1-й Московский государственный институт иностранных языков им. М. Тореза по специальности «Английский язык». По опыту работы — журналист, политолог. Член Союза журналистов. Работал корреспондентом на радио, в газете «Московский комсомолец», ведущим научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. Писал сценарии для телевидения, публиковался в журналах «Ковчег», «Мировая экономика и международные отношения».

ством юмора. После вечеринки мы долго шли с ним от Таганки по ночной Москве. Не помню, о чем говорили, но хорошо помню, что расстались за полночь на Арбатской площади возле «Праги» с таким чувством, будто были дружны всю жизнь.

Почти два года после этого мы были неразлучны. Мы читали одни и те же книги, много говорили о прочитанном, вели бесконечные разговоры «за жизнь». В компании приятелей и друзей кочевали по каким-то квартирам и дачам, ходили в кафе на Калининском проспекте, чаще всего — в «Ивушку», где была особая, теперь забытая атмосфера, когда казалось, что все собравшиеся в зале — одна большая и дружная компания. Изредка ездили на ипподром, азартный Колчанов — в расчете на выигрыш, я — ради красоты зрелища, чтобы побывать на этом многолюдном ярком празднике, полюбоваться зрелищем бегов.

Летом по выходным, когда родители уезжали на дачу, наша просторная квартира в Брюсовском превращалась в гульбище. Брат — обаятельный добряк, заядлый картежник и душа богемных компаний — приводил из Дома актера на Пушкинской старых и новых знакомых, у меня собирались друзья и друзья друзей, после вечерних концертов в консерватории захаживали ребята из Баршаевского оркестра. Мелодичная музыка тех лет, фоном звучавшая из моего старенького «Телефункена», погружала компанию в атмосферу дружелюбия и уюта. Кто-нибудь из гостей, взяв мою гитару, мог спеть что-то из репертуара Козина, Окуджавы или Вертинского, другие развлекали собравшихся историями из богемной жизни. У меня еще со времен работы на радио сохранилась небольшая, но очень хорошая подборка музыкальных записей, и среди гостей нередко находились желающие потанцевать мэдисон или рок-н-ролл.

Спиртного почти не пили, веселья и куража хватало без выпивки. Она была нужна лишь для того, чтобы собрать за одним столом едва знакомых людей, вызвать их на душевный разговор и за один вечер сделать добрыми приятелями, а старым друзьям напомнить, как хорошо снова быть вместе.

В наших вечеринках нередко участвовал Колчанов. Обычно он приходил с девчушками, как он их называл, с которыми знакомился на улице Горького или на Калининском проспекте. Как я сообразил намного позже, в этом был тонкий расчет. Атмосфера нашего дома располагала к сближению. Квартира была обставлена старинной мебелью, сохранилось кое-что из картин, которые когда-то собирал мой дед, в угловой горке поблескивали кобальтом и позолотой остатки прекрасного фарфора. Все это, должно быть, производило должное впечатление на колчановских подруг — я не раз видел их округлившиеся глаза, когда они озирались, разглядывая непривычную обстановку, — и новые знакомые сразу проникались к нему доверием и симпатией.

Потом он уводил их к себе на Композиторскую и в тиши большой коммунальной квартиры, населенной деликатными старушками из числа арбатских старожилов, норовил добиться окончательного сближения, или, как мы тогда говорили, совершить таинство любви. При этом он действовал настолько решительно, что доверчивые девицы, которые не были готовы к столь стремительному развитию отношений, пытались спастись от его домогательств, улепетывали по коридору коммуналки, иногда почти нагишом, чтобы укрыться в покоях какой-нибудь сердобольной старушки. Должно быть, это добавляло ему адреналина и куража — он не раз говорил, что не знает лучшего развлечения, чем дружба с девчушками.

Не всегда инициатором наших затей и приключений бывал Колчанов. Например, слетать в середине мая на несколько дней в Крым предложил я. После весен-

ней сессии в инъязе, где я заканчивал тогда вечернее отделение, до выпускных экзаменов оставалось больше недели, а в Ялте, в Доме творчества «Актер» отдыхала моя мать, с которой мы были очень дружны.

Я впервые попал в Крым, и меня ошеломили красота, простор и воздух этого благодатного края. Но для начала не обошлось без происшествий. В троллейбусе по дороге из Симферополя в Ялту Андрей проиграл почти все наши деньги двум карточным шулерам. Он требовал, чтобы я отдал ему последнюю трешку — у него якобы пошла карта, и он вот-вот сорвет банк, — но я наотрез отказался. На эти деньги мы колесили потом по ночной Ялте на такси в поисках места в гостинице, а утром пошли в «Актер» — у нас не осталось даже мелочи, чтобы отправить в Москву телеграмму и попросить кого-нибудь из друзей выслать перевод.

В Доме творчества только что кончился завтрак, и его обитатели не спеша разбредались из столовой. Моя мама сидела на лавочке в тени кипариса и в глубокой задумчивости, медленно двигая спицами, сосредоточенно вязала. Оказалось, что перед завтраком она звонила домой узнать, как я сдал последний экзамен, но брат сказал, что я еще не встал, так как вчера наверняка отмечал с приятелями окончание сессии и, должно быть, лег спать очень поздно — он даже не слышал, когда я вернулся домой. Теперь моя мама обеспокоенно размышляла о том, не слишком ли большой урон я нанес своему здоровью вчерашней вечеринкой и когда лучше позвонить, чтобы застать меня дома.

Мы сели рядом. Не обращая на нас внимания, она продолжала вязать. Немного выждав, Андрей сдержанно кашлянул. Она повернула голову, посмотрела на меня и...

Только ради того, чтобы увидеть в эту минуту выражение ее лица, стоило предпринять такое путешествие, пройти через все мытарства, проиграться в карты, выдержать унижительный разговор с администраторшей гостиницы «Массандра», не желавшей пускать нас на ночлег даже под залог двух паспортов. Но потом еще был город-праздник, набережная, залитая солнцем, нарядная толпа курортников, морская даль, маяк на конце мола как живописная деталь морского пейзажа и чайки, множество чаек в небе над пляжем. Денег было мало, но мы не унывали — по нескольку раз в день закусывали вкуснейшими пирожками с мясом и бульоном, которые продавались тогда в киосках на набережной по пятнадцать копеек за порцию, пили молодое вино по восемнадцать копеек стакан. Один вечер провели в ресторане «Ореанда» в обществе Вагана Геворгияна, корреспондента из редакции «Последних известий», встретив его с женой на пляже «Актера».

Из написанного Василием Аксеновым мне больше всего нравится рассказ «Жаль, что вас не было с нами», должно быть, потому, что он снова переносит меня в Ялту нашей молодости, возвращает упоительные ощущения тех майских дней в Крыму. Но нам повезло даже больше. У Аксенова они приехали туда ранней весной, было пасмурно и ветрено, накрапывал дождь, море штормило, а мы побывали там, когда все цвело и благоухало, воздух был особенно ароматен и свеж, а в Ливадии в зарослях у бывшего свитского корпуса не умолкая звенели птицы. Никогда больше у меня не было такого неба, такого простора и воздуха, такого волнующего ощущения радости и полноты жизни. И когда я думаю об этом, то неизменно вспоминаю Андрея.

Ему я обязан и самым ярким любовным переживанием тех лет. В конце октября он пригласил меня и еще двух приятелей поехать в Переделкино в гости к девушке, с которой познакомился накануне в «Книжной лавке писателей» на Кузнецком мосту — Настя работала там кассиршей. Она встречала нас у станции — стояла возле

газетного киоска в пальто из темно-зеленого букле и вязаной шапочке с большим помпоном, высматривая Андрея среди сошедших с электрички, — и сразу поразила меня выражением задумчивости в мечтательных и доверчивых глазах. Лицом она напоминала волоокую восточную красавицу, но была высокого роста, и дома, когда она сняла пальто, взглянув на ее статную фигуру, я подавил невольный завистливый вздох.

Мы долго гуляли тогда в ее лачуге — у нее был конфликт с родителями, и она жила в отдельно стоящем маленьком домике в глубине сада, который летом сдавали дачникам. Из большого дома пришла ее старшая сестра с мужем, чуть позже появилась соседка, еще какая-то разбитная девица, работавшая официанткой во Внукове. Когда компания стала расходиться, мы остались втроем — Андрей, Настя и я. Пили чай с остатками торга, слушали музыку. Колчанов был в ударе, много острил и балагурил, излучал мужественное обаяние, предвкушая радости уединения с хорошенькой девчушкой. Она звонко смеялась, раздумянилась и была похожа на девочку, очаровательную девочку, которая не догадывается о своей красоте или не придает ей значения. И я, забыв о зависти, откровенно любовался ею — столько в ней было женственной прелести, мягкой застенчивости и целомудренной красоты, что, пожалуй, именно тогда мне стали понятны чувства художников и поэтов, восхищавшихся этой красотой и поклонявшихся ей.

В начале двенадцатого, когда я собрался уходить, чтобы оставить Колчанова наедине с его подругой, в дверь постучала ее сестра и попросила сигарету. Андрей вышел к ней на веранду и долго не возвращался. Встревоженная Настя выглянула в дверь и обомлела: мой приятель совершал с ее сестрой таинство любви, пристроив ее в подходящей позиции на столе. Позже он рассказал, что, взяв у него сигарету, Галя подняла руки прикрыть пламя зажигалки, полы ее шубки разошлись, и он увидел, что под шубкой ничего нет. Такого случая мой приятель упустить не мог и, не мешкая, сотворил с ней физическую близость. За этим занятием их и застала оторопевшая Настасья. С мертвенно-побледневшим лицом она сняла с вешалки его куртку, приоткрыв дверь, швырнула ее в темноту веранды и заперла дверь на крючок.

Колчанов снаружи дергал ручку, мычал что-то невразумительное, что-то бубнил, видимо, пытаясь оправдаться, но она с непроницаемым лицом допивала свой чай. Я встал, собираясь уходить, и тут она, не поднимая глаз, попросила меня остаться. И более яркого и сильного чувства у меня не было, пожалуй, за всю жизнь. Невозможно забыть эти поездки в Переделкино, когда поздним вечером — зимой оступаясь в темноте на узкой тропинке и проваливаясь в снег, — я шел мимо Святого колодца на Чоботовскую аллею, отпирал калитку и, крадучись вдоль забора, чтобы незаметно обойти стороной большой дом, пробирался к ее лачуге, светившей мне теплым светом своего оконца из глубины заснеженного сада. Настя встречала меня тихим русалочьим смехом, протягивала ко мне руки и обнимала так, что у меня подкашивались ноги.

Я обмирал, глядя, как она возится с электроплиткой, готовит завтрак, листает книгу, чтобы показать мне понравившийся стих, — и все это с выражением той кроткой застенчивости, которая делала ее невыразимо пленительной. Иногда, буд-то стесняясь своих чувств, она поднимала на меня глаза, и в ее взгляде было столько нежности, что нет такого поступка, даже самого безрассудного, который я не совершил бы тогда ради этой девочки, — чувство к ней поглотило меня целиком, лишив воли и способности соображать.

Весной она перешла работать в булочную на Кутузовском проспекте, у Триумфальной арки, стала звонить реже, а когда мы встречались в Москве, дважды приходила на свидания заметно навеселе, отчего казалась мне еще более трогательной

и беззащитной. В начале апреля, когда она не появлялась почти неделю, терзаемый самыми мрачными догадками и подозрениями — накануне выяснилось, что она заразила меня триппером, — я поздно вечером отправился в Переделкино, проделал путь до Чоботовской аллеи, а войдя в калитку, в темноте сада не увидел привычного света в ее окне. Отворив дверь лачуги — она никогда не запиралась снаружи, — я обнаружил, что ее дом пуст и не протоплен. Совершенно убитый, я поплелся обратно к станции.

А через день она как ни в чем не бывало позвонила мне опять. Насчет триппера, чуть смутившись и глядя на меня невинными глазами, она лепетала, что этого не может быть, здесь какое-то недоразумение, ошибка, должно быть, я что-то перепутал или неправильно понял, во всяком случае, она тут ни при чем. И я готов был малодушно поверить, что она не врет, хотя знал наверняка: никаких других причин для этого бесславного недуга у меня не было и быть не могло.

И снова какое-то время все было по-прежнему: в маленькой уютной комнатке горели свечи, в печурке потрескивал огонь, из магнитофона приглушенно звучала баллада Элвиса Пресли «Любовные письма», «Поцелуй огня» в исполнении Билли Экстайна, «Глаза испанки» или «Последний вальс» Хампердинка. Все было по-прежнему, лишь Настя казалась более задумчивой, рассеянной и грустной.

В последних числах мая был ее день рождения — Насте исполнялось девятнадцать, и она захотела, чтобы мы отметили его вдвоем. Она была задумчива, печальна и особенно хороша собой. Потом она пошла проводить меня до станции, у мостика через ручей возле Святого колодца остановилась, обняла меня и под хрустальный звон струйки родниковой воды, падавшей в озерцо с каменного желобка, поцеловала одним из тех поцелуев, которые помнятся потом не только до конца жизни, но и в могиле — кажется, так написал великий Бунин в самом моем любимом из его рассказов — «Ида». Во всяком случае, я до сих пор помню вкус этого поцелуя у Святого колодца, когда она, отводя глаза, сказала, чтобы я больше не приезжал.

Я вернулся домой в невменяемом состоянии, думал, что никогда не оправлюсь от этой потери, и некоторое время чувствовал себя тяжелобольным. Я запретил себе думать о Насте, но забыть ее так и не смог. Оказалось, что воспоминания об этой девочке и о времени, проведенном с нею, красивее, чище и светлее, чем сама любовная интрига. Все пошлое и неприятное, что было в этой главе моей жизни, забылось, и в памяти остались лишь упоительные вечера и ночи в уютном домике, где на комодке горят свечи, в печурке потрескивает огонь, звучит тихая музыка и целомудренная девочка с лицом восточной красавицы с нежностью смотрит на меня через стол, а из-под черной бахромы ресниц мне светит тусклый огонь ее испепеляющей чувственности.

С тех пор я не верю в так называемые великие романы, которые якобы потрясли мир. Не верю, что они могут быть хоть в чем-то ярче и сильнее, чем страсти, которые порой тлеют и кипят в самых скромных интерьерах. Не верю, что возможно чувство более чистое, романтическое и красивое, чем то благоговейное обожание, которое я испытывал к девочке с русалочьим смехом, ожидавшей меня по вечерам в своей лачуге в глубине запущенного сада.

И этим я тоже обязан Андрею.

Но праздник молодости кончился, наступили будни взрослой жизни, и мы с ним расстались. Теперь у меня были совсем другие интересы, другие заботы, другие знакомые — тоже по большей части семейные. Я был загружен домашними делами, помимо основной работы, по старой памяти подрабатывал внештатным корреспон-

дентом на радио, словом, жил, как все — проблемами, радостями и печальми добропорядочного обывателя.

В Институте проблем мирового развития, где я работал, после периода растерянности и неразберихи начала девяностых годов жизнь постепенно наладилась. Те из наших сотрудников, кто был поамбициознее, ушли в разные ведомства и корпоративные структуры — опыт работы в академическом институте, глубокие знания и широкий кругозор позволили им занять там солидные позиции. А тех, кто остался, новая жизнь еще больше сплотила — сказывались общность интересов, привычка к вдумчивой работе, потребность делать что-то полезное.

Среди повседневных забот иногда удавалось повидаться со старыми друзьями, побывать в пивном погребе Дома журналиста, где по-прежнему царил атмосфера бесшабашного веселья. От общих знакомых я слышал, что Колчанов ушел из Радиокомитета, одно время почему-то торговал книгами на Курском вокзале, по мелочи занимался фарцовкой, что у него были неприятности, кажется, даже непродолжительная отсидка.

Я часто вспоминал нашу молодую вольницу. Я не хотел бы вернуть ее — всему свое время. Те из моих приятелей, кто задержался в эмансипированных холостяках, производили безрадостное впечатление и чем больше хорохорились и бодрились, становясь старше, тем более жалкими выглядели их потуги продлить то, что продлить нельзя. И чем дальше в прошлое уходили эти персонажи, события, приключения и переживания, тем более красочной, романтической и притягательной казалась наша прежняя жизнь.

Еще очень далеко было до той поры, когда воспоминания становятся лучшей частью повседневной жизни, но я уже почувствовал вкус ностальгии и, стоя в очереди, в метро по дороге в институт, работая над очередным переводом, с удовольствием вспоминал нашу беспечную, свободную и, как теперь стало казаться, счастливую молодость, где Андрей Колчанов был одной из самых ярких и дорогих для меня фигур. Стоит ли удивляться, что я искренне обрадовался, когда он позвонил мне в середине девяностых. Очевидно, не сомневаясь, что я сразу узнаю его, будничным тоном, словно мы расстались только позавчера, а не больше десяти лет назад, он сказал.

— Добрый день, Гера. Как поживаешь?

— Поживаю трудно, но интересно, — ответил я так, как отвечаю на этот вопрос уже много лет.

— Не хочешь ли увидеться?

— Хочу, — сказал я, выдержав паузу, чтобы скрыть свою радость.

— Тогда через десять минут я жду тебя у арки.

Это было традиционное место наших прежних встреч — у арки на углу Брюсовского и улицы Горького. Стоя возле крайней колонны, он разговаривал по телефону, и, подходя, я успел разглядеть его. Мой приятель мало изменился: такой же поджарый, прямой, высокий, только на голове вместо косого пробора теперь топорщился аккуратный ежик темных волос с красивой проседью. На нем был элегантно бледно-голубой пиджак из какой-то сильно мнущейся ткани, который очень шел к его явно нездешнему загару. Обернувшись, он изобразил на лице подобие приветливой улыбки, хотя его карие глаза при этом не улыбались — смотрели спокойно, жестко и как бы испытующе.

Был теплый солнечный день середины сентября, мы шли вниз по улице Горького мимо телеграфа, театра Ермоловой, гостиницы «Интурист», «Националя». Прямо как в доброе старое время, думал я, когда на Броде можно было встретить

стиляг и легендарных фарцовщиков: Сэма Павлова, Игоря Данилова, Сашу Рабиновича, а мы разгуливали здесь, молодые и беззаботные. Как и прежде, мой приятель поглядывал на встречных девиц, но теперь это был другой Андрей Колчанов. Раньше повадками он напоминал папуаса, который вышел на охотничью тропу, где за каждым поворотом, под каждым кустом ему мерещится возможная добыча и он в лихорадочном возбуждении ожидает встречи с ней. Теперь это был уверенный в себе хозяин жизни, который осматривает пасущееся стадо, где он может выбрать любую телку, чтобы заказать себе какое-нибудь блюдо, причем не примитивный эскалоп или отбивную, а что-нибудь изысканное, к примеру фрикасе под бешамелью.

Особенно хорошо произошедшую в нем перемену я почувствовал, когда мы пришли в «Метрополь». В манерах и барственной осанке, в неторопливой речи и басовитом вибрато его голоса угадывалось спокойное достоинство человека, который уверенно и комфортно чувствует себя в респектабельной обстановке Европейского зала. Два его службиста — я обратил на них внимание еще у арки на углу Брюсовского, но лишь теперь, увидев их в Европейском, сообразил, что они сопровождают Андрея — расположились за столиком на почтительном расстоянии у него за спиной и заказали себе большой графин какого-то сока.

— Чего-нибудь перекусим? — тоном гостеприимного хозяина, для которого нет ничего невозможного, осведомился он.

— Нет, спасибо. Но я бы с удовольствием выпил хорошего чая.

— Нам чаю, пожалуйста, — веско проговорил Колчанов, когда пожилой официант с усталым лицом почтительно склонился перед ним, чтобы принять заказ.

Я предвкушал удовольствие отведать по-настоящему хорошего сортового чая без парфюмерной примеси ароматических отдушек и потому сперва не поверил своим глазам, когда официант поставил перед нами фарфоровый чайник, из-под крышки которого свисали на ниточках ярлыки от пакетиков «Липтона». Меня подмывало спросить, нет ли у них за такие деньги — в меню стояли какие-то неправдоподобные цифры — приличного чая, но потом решил не обнаруживать столь явную неосведомленность в нравах высшего общества и сообразил, что платить здесь приходится не за первосортный продукт, а за манерность официанта, за сдержанную помпезность зала с лепниной, бронзой и колоннами из красивого искусственного мрамора, за особую атмосферу заведения.

Оказалось, он основательно «раскрутился», и теперь у него фирма с экзотическим названием «Ракорд», очевидно, навеянным воспоминаниями о работе на радио. На мой вопрос, каков ее профиль и чем они занимаются, он, как мне показалось, чуть уклончиво, но многозначительно проговорил:

— Всем понемногу, — и уточнил: — Всем, из чего можно делать деньги. Это приносит неплохую прибыль. Во всяком случае, я живу вполне комфортно. Приезжай ко мне на Фрунзенскую, посмотришь, как я устроился. Думаю, тебе понравится.

— С удовольствием, — сказал я из вежливости.

— А ты что подделываешь? Насколько я помню, после «Московского комсомольца» ты работал в каком-то институте.

— Я там и работаю. Это Институт проблем мирового развития.

— Ну, и чем вы там занимаетесь?

— У нас исследуют, что происходит в экономике и политике зарубежных стран, как развивается современный мир.

— В общем, как в доброе старое время, за государственный счет удовлетворяете собственное любопытство.

— Можно сказать и так. Но, разумеется, не для своего удовольствия, а для общей пользы.

— В чем же польза?

— В том, что мировой опыт нам нужно знать, если мы хотим построить цивилизованное общество, а не начинать все с нуля.

— Что ж в этом плохого? Все так начинали.

— Так начинали, когда не у кого было учиться и набираться ума. А теперь есть.

— Все эти премудрости никому не нужны. Я вот уже сколько лет убеждаюсь, что в бизнесе все просто, как мычание.

«В таком бизнесе, как у тебя, возможно», — хотел сказать я, но вместо этого проговорил:

— Жизнь все же не сводится к одному только бизнесу.

— Но это — главное. Экономика — базис, как нас когда-то учили, все остальное — надстройка.

— Опять-таки, бизнес — это еще не вся экономика. И потом, базис может быть цивилизованным, а может быть как в первобытном стаде, где все решает право сильного.

— По-моему, это нормально.

— Нормально для стада, но для цивилизованного общества едва ли годится, — сказал я и с раздражением почувствовал, что ни убедить, ни переспорить Колчанова не смогу, особенно после того, как ответил на его следующий вопрос.

— Ну, и сколько ты за это получаешь?

— Не много.

— А все-таки?

Я назвал сумму и с удовольствием отметил, что хоть чем-то могу пронять своего приятеля — у него буквально отвисла челюсть.

— Сколько?! — переспросил он.

Я повторил.

— Действительно, не густо, — приходя в себя, проговорил он. — Хотя, поскольку вы занимаетесь схоластикой, на более приличные бабки рассчитывать, конечно, не приходится.

— Ошибаешься. Эта схоластика имеет самое прямое отношение к реальной жизни. Поэтому наши спецы востребованы в очень серьезных структурах.

— Где, например?

— Один теперь работает начальником управления Центробанка, другой стал членом правления крупной государственной корпорации, третий был замминистра финансов, четвертый — губернатор и так далее.

— Выходит, из вашей науки тоже можно делать деньги. Тогда я не понимаю, почему ты там сидишь. Не век же тебе барахтаться в этом придонном слое.

— Во-первых, я не барахтаюсь, а спокойно плыву, а во-вторых, почему придонном?

— Потому что ниже уже никого нет, только одинокие пенсионеры, бомжи и попрошайки. Нет, с этим надо что-то делать, — заключил он решительно. — Можно будет организовать из ваших спецов какой-нибудь экспертный совет или фонд, выйти на нужных людей, договориться о финансировании. Ты не представляешь, какие сейчас возможности! — Он усмехнулся. — Помнишь, кем я был? Инженер-ришка на сто двадцать рублей! А теперь я миллионер.

Он произнес это слово, упирая на сдвоенное «л», и, должен признаться, прозвучало оно довольно внушительно. Но, видимо, сообразив, что такой разговор может быть мне неприятен, особенно после того, как я назвал ему размер своей зарплаты, Андрей резко переменял тему. Он спросил, вижу ли я кого-нибудь из старой радиокомитетской компании. Я сказал, что недавно встретил Коржова, иногда вижу Томочку Ребякину, поскольку она живет недалеко от меня, но отношения поддерживаю только с Валей Смолиным, который полгода назад вернулся из Чернобыля.

— Он был в Чернобыле?! — восторженно воскликнул Колчанов.

— Да, шесть лет работал дозиметристом на саркофаге.

— Тогда у него наверняка есть льготы...

— Не знаю насчет льгот, но скоро он должен получить квартиру за свою чернобыльскую эпопею.

— Наверняка есть льготы, — повторил Колчанов, что-то соображая. — Значит, можно будет привлечь несколько мужиков из тех, кто был там вместе с ним, и учредить филиал моего «Ракорда». Или создать самостоятельную фирмочку и через нее проворачивать большие дела. Насколько я знаю, чернобыльцам полагаются серьезные льготы на предпринимательскую деятельность. Вот что, приезжайте-ка с ним ко мне на Фрунзенскую, подумаем, как организовать это дело, чтобы всем было хорошо. Кстати, посмотрите, как я устроился. Обязательно приезжайте! — повторил он.

Продолжение этого разговора происходило у него на Фрунзенской, куда мы с Валентином приехали через несколько дней после чаепития в «Метрополе». Андрей вышел к нам в прихожую чем-то озабоченный, торопливо пожал руки, мельком, но внимательно смерил взглядом Смолина и пригласил нас пройти за ним. Перед закрытой дверью он секунду помедлил:

— Извините, ребята, сейчас я закончу один деловой разговор и тогда займусь с вами.

В просторной светлой комнате на диване сидел крупный мужчина лет сорока пяти, как потом оказалось, заместитель генерального директора охранной фирмы «Кордон». Андрей сел напротив, и они продолжили прерванный разговор. Мы с Валентином уселись поодаль в кресла, и я осмотрелся.

Комната была обставлена довольно безлико, но уютно — уже не гостиная, но еще не кабинет гендиректора процветающей фирмы: добротная массивная мебель, удобный диван, торшер, портьеры с ламбрекенами, на стенах несколько пейзажей в резных деревянных рамах. Из окон открывался живописный вид на Москву-реку и Нескучный сад на том берегу — весь в ярких красках золотой осени, чуть приглушенных легкой дымкой, висевшей над рекой. Ощущение уюта и покоя нарушал лишь монотонный голос человека из «Кордона», вещавшего о прослушке и «жучках», о черных поясах каратистов-охранников, о том, как они могут организовать охрану складов, какое установят оборудование.

Когда посетитель ушел, Колчанов подсел к нам и, обращаясь преимущественно к Валентину, стал объяснять, чем занимается его «Ракорд». Торгуют пока в основном напитками и продуктами, но это себя оправдывает: оборот компании уже доходит до четырехсот миллионов в месяц. Бывает трудно пробиться на новые рынки, тогда приходится заинтересовать кого надо, прижать конкурентов, но в результате операции быстро расширяются. Андрей встал и подошел к висевшей на видном месте карте нескольких областей Центральной России с воткнутыми в нее двумя или тремя десятками разноцветных фишек. «Это наши точки», — пояснил Андрей. Он с видимым удовольствием разглядывал россыпь своих «точек» на карте. Признаться, и я удивился размаху его операций.

Потом он повел нас показывать свои владения. Он купил две соседние квартиры и занимал теперь шесть или семь комнат. Его хоромы даже по современным меркам выглядели весьма внушительно. В просторной комнате за мониторами расположились человек семь сотрудников, в основном — девицы; по коридорам деловито сновали люди с бумагами в руках. Со всеми, к кому он обращался, Колча-

нов разговаривал подчеркнуто вежливо и на «вы», но я обратил внимание, что при этом его службисты ощущимо напрягались и цепенели.

Похоже, мой приятель сам еще не вполне освоился с ролью хозяина этих обширных владений и населяющего их персонала. В осанке, в выражении лица с легким налетом самодовольства, во внушительной басовитости голоса, когда он обращался к сотрудникам, слышалась по-отечески снисходительная интонация. При этом я заметил, что он искоса, но внимательно и с видимым удовольствием наблюдает за Валентином.

Тот был явно подавлен. Мне казалось, что человек, побывавший в такой горячей точке, как Чернобыль, должен иметь отменное самообладание и утратить способность удивляться чему бы то ни было. Но, очевидно, владения Андрея, вся обстановка и деловитая суэта его службистов произвели на Смолина столь сильное впечатление, что он почти впал в столбняк. Отчасти мне было понятно его настроение: когда-то в Радиокomiteе мы все были на равных, и Андрей, во всяком случае с точки зрения Валентина, ничем среди нас не выделялся.

Сам я, напротив, не испытывал ни удивления, ни восхищения, наблюдая показательную демонстрацию колчановских достижений. Наоборот, в этом эффектном шоу мне мерещилось нечто комичное. Вероятно, я вообще не испытывал бы никаких чувств, если бы не Валентин. Было тяжело видеть моего молодявого, мужественного и всегда уверенного в себе приятеля в таком подавленном состоянии. На лице у него застыло неприятное, напряженное выражение, и за все время нашего пребывания на Фрунзенской он произнес лишь несколько слов, причем явно стараясь высказаться впопад.

Очевидно, решив, что нужный эффект достигнут, когда мы вернулись в кабинет, Андрей обратился в Смолину:

— Герман сказал, что ты был в Чернобыле, и у меня есть к тебе интересное предложение. Если ты готов поучаствовать в моем бизнесе, надо будет привлечь еще несколько мужиков из твоих чернобыльцев, регистрируем вас как филиал или дочернюю компанию моего «Ракорда», и вы с вашими льготами сможете очень прилично зарабатывать. Короче, это тот случай, когда всем будет хорошо — и тебе, и мне. Подумай, если ты согласен, начнем действовать.

Ксюша, фигуристая секретарша в модных очках и с очень высоким боковым разрезом на юбке — она все время маячила поблизости, на редкость собранная и предупредительная, — принесла на подносе три чашки кофе, сахарницу и вазочку с бриошами. Комната наполнилась кофейным ароматом. Андрей достал из тумбы письменного стола бутылку «Реми Мартин» и три серебряных стаканчика.

— Спасибо, мне не надо, — сказал я.

— Я тоже не пью, ты же знаешь. Это только для аромата, — пояснил Андрей, разливая коньяк. — Я недавно летел из Швейцарии с одной респектабельной дамой, и она очень рекомендовала такое сочетание. Ну, парни, — он поднял свою чашку, словно готовясь чокнуться, — как говорится, за нас с вами, за хрен с ними, за то, чтобы у нас все было и чтобы нам за это ничего не было...

Под впечатлением от увиденного на Фрунзенской Валентин с большим усердием взялся за дело. Филиал «Ракорда» решили не создавать. Смолин привлек несколько человек из своих бывших сослуживцев по Чернобылю, и они стали работать как индивидуальные предприниматели, используя каналы «Ракорда». Андрей сделал Валентина координатором этой команды. После монотонной рутины Чернобыля в «Ракорде» он нашел выход своей энергии и работал с полной отдачей сил.

Колчанов редко вспоминал о нем — очевидно, Смолен был слишком мелкой фигурой в разбухающем штате его компании, — но неизменно говорил о нем с одобрением.

В свою очередь, Валентин первое время с большим воодушевлением делился со мной впечатлениями о том, как хорошо Андрей поставил дело, как четко руководит компанией. Правда, скоро эйфория сошла на нет. Он сетовал, что у его чернобыльцев, как он выразился, «откусывали» слишком большой процент прибыли, а общая атмосфера в компании, по его словам, напоминала шарашку, описанную Солженицыным.

«Ракорд» процветал. Впрочем, меня это нисколько не удивляло, поскольку мне был хорошо известен незаурядный склад ума моего приятеля. Он и в молодые годы отличался способностью быстро сориентироваться в обстановке, найти выход из самого, казалось бы, безвыходного положения. Помнится, он был единственным, кто не растерялся, когда много лет назад в разгар вечеринки на квартире у нашего приятеля Виталия Короткова около полуночи раздался звонок в дверь.

Веселье было в самом разгаре, в квартире царил кавардак. В это время я развлекал компанию рассказом о том, как месяцем раньше во время языковой практики в институте выгуливал по Москве шестерых студенток преподавательского колледжа имени Марии Грей из Мидлсэкса. У девочек было хорошее чувство юмора, мы много шутили и балагурили. В Парке Горького у пруда, где вдоль берега степенно дрейфовал выводок лебедей, я, понизив голос, доверительно сообщил моим девочкам, что на самом деле это вовсе не лебеди, а замаскированные и специально обученные утки, в оперении которых спрятаны микрофоны для подслушивания разговоров посетителей. Почему утки? Потому что лебеди о себе слишком высокого мнения, ленивы и плохо приспособлены для выполнения заданий контрразведки.

Начитавшись книжек Флеминга о похождениях Джеймса Бонда, будущие учителя британской начальной школы слушали меня недоверчиво, но с округлившимися глазами. Первые смешки раздалась, когда вместо слова «оперение» — я не знал, как сказать это по-английски, — я употребил слово «мех» или «шерсть, шкура». Но окончательно они раскусили мой подвох, когда я, так же опасно озираясь, предупредил их, что пожилая рыхлая мороженщица, у которой я купил для всей компании эскимо, на самом деле загримированный ветеран советской разведки — легендарный майор Пронин. Девочки очень воодушевились и после этого почти в каждом встречном старались распознать контрразведчика. При этом они с чисто британским юмором высказывали такие смелые предположения, что компания у Короткова покатывалась со смеху.

И тут, когда стих довольно дружный гомон и не совсем трезвый смех, в наступившей тишине, как раскат грома, раздался звонок в дверь. «Родители приехали!» — выдавил из себя побледневший и мгновенно протрезвевший Коротков. Для тех, кто был знаком с его матерью, сразу стала понятна серьезность ситуации. Добрая, но строгая Нина Григорьевна, перед которой, как мне кажется, робел даже ее супруг — боевой генерал, судя по количеству орденов, полученных на войне, человек отнюдь не робкий, — очень неодобрительно относилась к нашим сборищам в их просторной квартире, обставленной добротной трофейной мебелью и увешанной картинами. Она не раз предупреждала нас, что если застанет дома бардак, то нам несдобровать — она не поленится обзвонить наши отделы кадров и комсомольские организации, чтобы товарищи по работе нас образумили. До сих пор нас выручало то, что пожилые родители Короткова после майских праздников на все лето уезжали к себе на дачу в Заветы Ильича и в темное время суток, когда мы собирались у них дома, не решались ехать в Москву.

«Быстро допиваем!» — скомандовал Андрей, и едва все поставили рюмки, сгрел со стола скатерть вместе с посудой, связал ее углы на манер поклажи мешочника и вынес этот узел на темный балкон. Потом он достал из кармана колоду и велел Толе Половинкину раздать карты. Через полторы минуты вся компания сидела за столом, как бы разыгрывая партию в «подкидного дурака», а мы с Андреем на диване в эркере торопливо расставляли фигурки на шахматной доске. «Открывай!» — крикнул он Виталию, который все это время делал вид, что не может отпереть заклинивший замок. Через секунду раздался громкий нервический хохот нашего хозяина. Теснясь и толкаясь, мы высыпали в прихожую. На пороге стоял растерянный молодой парнишка-почтальон. «Вам же срочная телеграмма...» — повторил он. Виталий, давясь от смеха, проговорил: «Он ошибся... перепутал адрес!» Естественно, следующий тост подняли за Андрея.

Такая находчивость очень помогала ему в организации бизнеса. Он, например, придумал скупать в Европе продукты с истекающим сроком годности, которые продавались там за бесценок. Крупные партии этого товара свозились на склады «Ракорда». Потом «высококачественные продукты из Европы по доступным ценам» сбывались оптовым поставщикам его «точек», количество которых, как я мог убедиться, изредка бывая на Фрунзенской, неуклонно росло.

Думаю, такая коммерция приносила сумасшедшие прибыли. Это сказалось и на настроениях Андрея. Он купил дом в предместье Берлина, не очень большой, но, судя по фотографиям, красивый и с хорошим участком, перевез туда на ПМЖ жену с сыном. Первое время он наведывался в Берлин почти каждую неделю, однако скоро потерял интерес к этой стороне красивой жизни: его деятельная натура требовала непрерывной активности. Однажды, переключая каналы, я увидел на экране телевизора своего приятеля. Герой программы «Сделай шаг» Андрей Григорьевич Колчанов рассказывал нескольким десяткам молодых людей, собравшимся в студии, как стать успешным бизнесменом.

Он обзаводился престижными знакомствами, повадился ездить на самые модные курорты Европы, однажды зимой отправился в Вербье покататься на лыжах. Очевидно, его ввела в заблуждение обманчивая легкость, с какой лыжники носились по крутому склону. Он отмахнулся от наставлений инструктора, в первый же заезд упал и расшибся так, что попал в больницу. Это отбило у него охоту к великосветскому развлечению.

Все это время нечасто, раз в две-три недели, но с удивительным постоянством Андрей звонил мне. Мы вели долгие разговоры по телефону, иногда он приглашал меня в «Пушкин» на Тверском бульваре, в «Националь», на прогулки по местам боевой славы, как он говорил: на улицу Горького, Арбат, в Спасопесковский сквер, где на углу Трубниковского и Композиторской еще стоял с заколоченными окнами, дожидаясь сноса, их двухэтажный особняк.

Андрей с удовольствием разглагольствовал о новых временах, о том, что «все получилось даже лучше, чем можно было мечтать», что в новой жизни для самых энергичных и целеустремленных нет ничего невозможного, можно добиться всего, чего захочешь, была бы голова на плечах и желание заработать. Мы вспоминали молодость, старых друзей и подруг, наши приключения. Я очень дорожил этими воспоминаниями, памятью о нашей прежней беспечной и свободной жизни, наполненной яркими впечатлениями, а присутствие Андрея, персонажа из нашего общего прошлого, делало это прошлое еще более реальным, притягательным и живым.

Теперь я могу признаться себе в том, что мне не то чтобы льстили, но были приятны его внимание и дружелюбие — не потому, что он разбогател и принадлежал

теперь к той прослойке общества, которая считает себя элитой, цветом нации. Мне не стыдно признаться в этом потому, что я по-прежнему убежден в незаурядности Андрея. Помимо обаяния и парадоксального склада ума, который я всегда считал признаком неординарности человека, он, безусловно, был наделен творческим даром, способностью в обыденном и заурядном распознать нечто недоступное пониманию прозаика и тугодума вроде меня. Я, например, никогда не догадался бы подсказать Толе Половинкину простой, но остроумный выход из отчаянного положения, в котором он оказался много лет назад после той вечеринки у Короткова.

Под утро у Половинкина состоялось долгое и очень болезненное выяснение отношений с любимой девушкой. После этого он взялся отгладить ее блузку, чтобы проводить подругу на работу в пристойном виде. В расстроенных чувствах, погруженный в свои безрадостные мысли, Толя стоял у окна, обреченно всматриваясь в перспективу проспекта Мира, и встрепенулus лишь тогда, когда из-под утюга, который он оставил на блузке своей любимой, заструился легкий дымок и в комнате запахло паленым. В полном смятении и растерянности Половинкин позвал нас. «Не переживай, — сказал Андрей, разглядывая отчетливый коричневый отпечаток утюга посередине спины светло-серой блузки. — Что-нибудь придумаем».

Через двадцать минут ничего не подозревающая Ева с победоносным видом вышла из квартиры в свежеотглаженной блузке. По совету Андрея Толя, помогая своей подружке одеться, изловчился подать ей эту деталь туалета так, что она ничего не заметила, тем более что ее мысли в этот момент, скорее всего, были заняты другим. То, как суетился и хлопотал вокруг нее щупленький Половинкин, наверняка добавило ей победного настроения. Она покинула квартиру с гордо поднятой головой и выражением лица триумфатора и, надо полагать, с таким же видом прошествовала по проспекту Мира до метро, а потом явилась к себе в магазин «Галантерея» на Арбате, напротив «Праги», где работала продавцом. При мысли о том, что ожидает бедного Половинкина при следующей встрече с любимой, я поежился. Думаю, не лучше себя чувствовали и остальные весельчаки нашей компании — из квартиры Короткова красавицу Еву мы проводили в скорбном молчании.

С возрастом Колчанов не утратил склонности к курьезам, но его импровизации стали менее аляповатыми. Однажды в Доме кино — пропуск на какой-то просмотр ему дал один из новых респектабельных знакомых, и Андрей не решился ему отказать, хотя всегда был равнодушен к кино, — в очереди у кафетерия за нами встала Елена Коренева. Заметив ее, он обернулся и, заглядывая ей в глаза, проникновенно проговорил: «Простите, вы не могли бы встать впереди нас». — «Почему?» — удивилась актриса. «После того, как сам барон Мюнхгаузен сказал, что на свете нет другой такой прекрасной женщины, нам неловко стоять к вам спиной».

Но особенно мне нравилось, когда Андрей, по его собственному выражению, прикладывал мордой об стол наиболее чванливых представителей своего делового сословия. Во время нашего с Валентином первого визита к нему на Фрунзенскую, например, в разговоре с заместителем гендиректора фирмы «Кордон», крупным человеком с большим животом, который, развалившись на диване, важно цедил сквозь зубы какие-то фразы о суперсовременном оборудовании для прослушки и черных поясах своих телохранителей, Колчанов неожиданно воскликнул: «Коллега, о чем базар! Мы же с вами интеллигентные люди и прекрасно понимаем друг друга! И мы никому не позволим внаглую себя колпачить!»

Я не раз задавал себе вопрос: что побуждает Андрея с такой настойчивостью звонить мне, вести долгие разговоры по душам, тратить время на встречи? Казалось бы, я не должен был представлять для него никакого интереса — мой придон-

ный слой отделяла от его респектабельного зазеркалья глубокая пропасть, и в новой жизни у нас с ним не было ничего общего, кроме общего прошлого. Но если меня эти разговоры погружали в благостную ностальгию — мне нравилось вспоминать наших друзей, наши приключения, наших девчушек, — то у Андрея они чаще всего вызвали досаду и раздражение. «Сколько времени потратили впустую! — сетовал он. — Ведь уже тогда можно было проворачивать большие дела вместо того, чтобы заниматься всякой чепухой!»

Сначала я объяснял его звонки тем, что с моей помощью он рассчитывал организовать из сотрудников нашего института экспертный совет, который позволит ему «делать деньги из воздуха». Он раз или два упоминал об этом, но постепенно идея сошла на нет — что-то не заладилось с госфинансированием. Потом я решил, что, будучи человеком пытливым, привыкшим во всем докапываться до сути, он хочет понять, почему я, находясь в столь отчаянном положении в своем придонном слое, не сучусь, как Валентин, не хочу воспользоваться его предложениями поучаствовать в бизнесе и как следует заработать.

Он, например, хотел поручить мне организацию нового направления деятельности «Ракорда». В Германии Колчанов нашел фирму, которая выпускала мебель в стилистике антиквариата. «Помнится, ты неплохо разбираешься в этом, так что тебе и карты в руки», — сказал он. «Не то чтобы разбираюсь, но я всю жизнь прожил среди таких вещей, поэтому легко могу отличить буль от жакоба». — «Больше ничего и не требуется, — заключил он, не заметив подвоха. — Эта публика все равно ничего не смыслит. Им главное, чтобы было побольше завитушек и позолоты».

Андрей поручил это направление брату своей жены, симпатичному сорокадвухлетнему Косте, по профессии архитектору, а по складу характера — созерцателю и эстету. Андрей вытащил его из какой-то архитектурной мастерской, чтобы пристроить к бизнесу своего человека, но Косте, по его словам, явно не хватало деловой хватки, и пока он не угробил перспективную затею, Колчанов решил поручить это дело мне. К его удивлению, я наотрез отказался: к этому времени я уже достаточно понаблюдал нравы и порядки в его компании, да и по рассказам Валентина составил представление о том, чем и как они занимаются, какая атмосфера сложилась в «Ракорде». К тому же я не забыл, как однажды, словно размышляя вслух — речь шла о конфликте с кем-то из его партнеров по бизнесу, — Колчанов задумчиво проговорил: «Все-таки прав был Макиавелли. Самая прочная основа человеческих отношений — это страх». А главное, я вовсе не хотел для себя такой жизни, как у него. Жизни, где в погоне за деньгами и положением в обществе нет ни времени, ни желания, ни сил перечитывать Лермонтова и Бунина, слушать Бетховена и Баха, погружаться в мучительную и сладкую стихию шумановских «Грез» в гениальной интерпретации Горовица, наслаждаться красотой природы.

Я бы так и не узнал, почему Андрей вернулся ко мне из своего зазеркалья. Я строил на этот счет самые разные догадки и предположения, но ясность в них внесла лишь Маша — единственная из его девушек, которую в молодые годы Андрей по-настоящему любил. Вернее, его чувство было похоже на болезненную страсть, с которой он не мог справиться. Однажды, например, после очередной сцены ревности он на руках принес Машу от метро «Смоленская» к себе на Композиторскую.

Она была необыкновенно хороша собой, настоящая красotka с задорным личиком, пышными пепельными волосами, кукольной фигуркой, неизменно приветливая, улыбчивая и всегда какая-то радостная, словно узнала что-то очень для себя приятное. К ней благоволили даже деликатные старушки, соседки Колчанова

по коммуналке, хотя гражданские браки тогда были еще в диковинку, и ее положение при Андрее в качестве его сожительницы, с точки зрения общественных приличий, казалось весьма двусмысленным.

Мы случайно встретились с ней много лет спустя, уже в новой жизни. Она шла по Столешникову переулку располневшая, не по возрасту красивая, но какая-то потухшая и бесцветная, словно припудренная пылью прошедших лет. С тех пор мы изредка перезваниваемся. Она одинока, постоянно грустна и склонна к ностальгии, растит внучку, так как у ее дочери — современной, деловой и тоже одинокой дамы — нет ни времени, ни желания заниматься своим ребенком. Мы подолгу разговариваем, вспоминая прошлую жизнь и населявших ее персонажей, чаще всего, конечно, Андрея.

Оказалось, что в ее жизни он оставил даже более глубокий след, чем я мог предположить. На целую минуту лишив меня дара речи, Маша призналась, что ее Алиса — дочь Андрея, причем он случайно узнал о своем ребенке от общей знакомой, когда девочке было уже четыре года — Маша ушла от него раньше, чем стала заметна ее беременность. Его реакция меня откровенно покорила. «Это не моя проблема. Раз она бросила меня, пускай теперь разбирается сама», — сказал он и никогда, ни разу не пытался увидеть дочь, не захотел помочь Маше хотя бы деньгами.

— Почему же ты ушла от него? — спросил я.

— Потому что без памяти его любила и не могла вынести того, что он себе позволял. Не хотела верить, что он мне постоянно изменяет, — продолжала она с горечью. — Но однажды и его мать сказала мне: «Вы думаете, вы у него такая одна?» Этого мне было достаточно.

Маша говорила об этом так, что я подумал: «Она до сих пор не может его забыть, не может примириться с тем, что прожила жизнь одна, без Андрея». Она так и не вышла замуж и ограничивалась непродолжительными гражданскими браками, может быть, в надежде, что когда-нибудь он вернется.

Но еще больше я удивился, когда Маша сказала, что в молодые годы Андрей считал меня своим самым близким другом. Он повторял некоторые мои высказывания, ценил мой вкус, считался с моим мнением, причем настолько, что ставил ей в упрек то, что она мне не нравилась. И с опозданием на тридцать с лишним лет мне пришлось оправдываться, объяснять, что это было не совсем так, просто мне нравились совсем другие девочки, не такие яркие, красивые и самоуверенные, а более скромные, застенчивые и милые.

Маша усмехалась в трубку, успокаивала меня, говоря, что все это давным-давно не имеет никакого значения, да и прежде было неважно, поскольку в молодости ею увлекались такие мужчины, что мнение даже самого близкого друга Андрея для нее мало что значило. И она назвала одного из самых известных кумиров нескольких поколений. Его имя я не решаюсь повторить, чтобы нельзя было заподозрить Машу в бахвальстве, но не сомневаюсь, что, встретив ее в одной из богемных компаний, он был настолько очарован этой девочкой, что не смог отпустить ее от себя, и год с лишним она была его гражданской женой.

Я уверен, что она не солгала мне — у нас такие отношения, что мы не можем хоть в чем-то быть неискренними друг с другом. Достаточно малейшей фальши или самой маленькой неправды, чтобы красочный мираж нашей прошлой жизни рассыпался в прах. Поэтому я не сомневаюсь, что и говоря об отношении ко мне Андрея, она не лукавила. Меня удивило лишь одно: за все время нашего знакомства он ни разу не дал мне повода думать, что принимает меня всерьез. Скорее, наоборот — в его отношении ко мне временами сквозила легкая, но вполне ощутимая ирония.

После этого разговора стало понятно: Андрей вернулся ко мне из своего зазеркалья, чтобы поставить победную точку в наших с ним давних спорах и разговорах «за жизнь», доказать — очевидно, в первую очередь самому себе, — что правда была на его стороне. Стал понятен и смысл фразы, которую я однажды услышал от него, когда мы сидели в «Национале» с его очередной девчушкой, на этот раз — из кордебалета Большого театра.

— Что бы ты ни говорил, мир держится на самых сильных, энергичных и волевых.

Сказано это было таким тоном, что стало понятно: он определенно причисляет себя к людям, на которых держится этот мир. Мне было что ответить Андрею, но я ограничился тем, что сослался на одного из самых почитаемых им авторитетов.

— Солженицын думает иначе. Вспомни-ка «Матренин двор».

— Ну, он имел в виду совсем другое... — протянул Андрей.

— Он имел в виду, что мир держится на трудягах, которые работают не за страх, а за совесть и не ради собственной выгоды, но для общей пользы.

Мне было что ответить Андрею, поскольку в таких разговорах у меня был прочный тыл — компания институтских сослуживцев. Раз, а иногда два раза в неделю во время обеденного перерыва мы собирались на чаепития у нашего старейшины Бориса Марковича Литаврина, чтобы обменяться впечатлениями об увиденном, прочитанном, услышанном. Один расхваливал постановку «Шутки мецената», которую видел в театре Маяковского, другой побывал на выставке Сергея Андрияки и уверял, что со временем его наверняка признают выдающимся художником, поскольку никто из живописцев за последнюю сотню лет не показал людям в окружающем мире столько красоты. Мы дружно сокрушались о памятнике Окуджаве, который соорудили на Арбате. Сошлись на том, что автор этого изваяния не знал, не понимал и не любил Окуджаву, если мог изобразить поэта, который вдохнул в нашу жизнь столько душевного тепла, сердечности и доброты, в виде этакого ханыги из арбатской подворотни.

На профессиональные темы говорили редко, да и то лишь когда вызывал изумление какой-нибудь особенно смелый кунштюк наших молодых реформаторов вроде обвальской либерализации цен или народной приватизации. Нас больше интересовало, куда идет страна по избранному ими пути, как это скажется на состоянии общества, жизненных ценностях, отношениях между людьми, на развитии культуры. Поэтому довольно оживленную дискуссию вызвала публикация статьи академика Боголюбова в одной из центральных газет, где он утверждал, что «сначала надо накормить себя, одеть, построить крышу над головой, а уже потом думать о нравственности».

Наш спец по экономике промышленности и заядлый рыночник Юра Ладнов с энтузиазмом подхватил идею академика. Он соглашался, что конкуренция и нравственность несовместимы, но считал, что без этого невозможен прорыв к изобилию и процветанию. Только так, настаивал Ладнов, можно добиться перелома в настроениях людей, преодолеть апатию, а дефицит нравственности нужно компенсировать жесткими, как в Америке, законами. На это заведующий сектором развития и модернизации, а по образу мыслей эстет и идеалист Федя Тропольский возражал, что жесткими законами и посадками нравственность воспитать сложно, для этого в первую очередь нужно создать культурную среду, способную формировать здоровое общественное сознание. Володя Ганичев из отдела инвестиционных исследований с некоторым раздражением отвечал, что это пустая трата времени, поскольку искусство всегда было лишь средством развлечения, а потому оно никак не может влиять на взгляды людей. «Ошибаешься», — возражал Тропольский и сослался на высказыва-

ние Бродского о том, что если бы Пилат читал сочинение Вергилия «Буколики», где говорилось о пришествии Мессии, то его разговор с Иисусом закончился бы иначе, и тогда развитие человечества пошло бы другим путем.

Заговорили о том, что современное искусство, особенно наиболее продвинутое, вообще ничего, кроме дурного вкуса и искаженного взгляда на мир, сформировать не может, поскольку его основная движущая сила — эпатаж, всевозможные стилистические и смысловые выкрутасы. В этом, сокрушался Федор, проявляется общий упадок мировой культуры, ее декаданс. «Но без декаданса невозможен ренессанс!» — запальчиво возражал Ладнов и напомнил, кстати, что Серебряный век состоялся в условиях рыночной экономики.

Сам Литаврин обычно не вмешивался в такие споры. Похоже, ему претила излишняя горячность этих дискуссий, и он не хотел давать лишних поводов для новых препирательств. Однако в нем чувствовалась закваска мудреца, который испытывал потребность поделиться с кем-нибудь своими мыслями, и в моем лице он нашел благодарного слушателя, тем более, что после одного пустячного случая, как мне казалось, относился ко мне чуть более доверительно, чем к другим.

Раньше он одевался с неброским щегольством, шил костюмы в ателье Союза композиторов у знаменитого Шнейдермана, носил элегантную обувь, но после инсульта, который у него случился в шестьдесят три года, плохо владел левой рукой и не мог сам зашнуровывать ботинки. Заметив однажды, что он засовывает шнурки внутрь башмаков, я присел на корточки и, не обращая внимания на его протестующие возгласы, завязал их бантиком. Этот ритуал повторялся потом не раз, пока жена не купила ему мокасины без шнуровки. Видимо, я переступил тогда какую-то незримую черту, которая порой разделяет даже близких людей, и в разговорах с глазу на глаз он иногда углублялся в дебри таких умозрительных построений, что окружающий мир оттуда казался законченным воплощением абсурда.

Хорошо помню одно из его высказываний, тем более что оно имело прямое отношение к нашим спорам с Андреем. «А знаешь, — сказал он однажды, — общество потребления, которое навязали всему миру американцы, поработает человека сильнее, чем любая деспотия. Там, выполняя определенные предписания правящего режима, он остается внутренне свободным, сохраняет способность и потребность мыслить самостоятельно, обо всем иметь собственное мнение. Здесь же он сознательно и с полной отдачей сил следует образцам потребления, поведения и образа мыслей, которые внушены ему телевидением, массовыми изданиями, всем строем современной жизни. Прав был Бердяев, когда писал о гибели великой европейской культуры в современной бездушной цивилизации. Обществу, где главной целью и смыслом существования стало стремление наслаждаться жизнью, получить как можно больше благ и удовольствий, духовная культура не нужна и даже вредна, поскольку она заставляет усомниться в такой системе жизненных ценностей. А в результате развитие человечества повернуло вспять, к нравам первобытного стада, где все решает право сильного. Самым сильным, энергичным и ненасытным членам племени достаются лучшие места у костра, лучшие куски мяса, лучшие самки. И то, что в современном мире это обставлено роскошью и гламурными эффектами, ничего не меняет по существу и лишь создает иллюзию респектабельности такого образа жизни, вызывает восхищение и зависть толпы. Однако ничего рационального в таких несметных богатствах нет, кроме того, что они дают этим людям ощущение превосходства над другими, иллюзию собственной исключительности. Эта иллюзия и составляет главное содержание их жизни». Не поручусь за дословную точность его высказывания, но суть была именно такой.

Впрочем, не разговоры были самым притягательным в чаепитиях у Литаврина. Теперь я понимаю, что больше всего нас привлекала атмосфера, дух, который сохранился в таких заповедниках осмысленной жизни у нас в институте с доперестроечных времен, когда на творческие вечера к нам приезжали Тарковский, Трифонов, Михалков, Иоселиани, а еще раньше — Окуджава и Высоцкий. Душой компании был сам Литаврин. Он не говорил ничего из ряда вон выходящего, не умничал, но в его манере разговора, во взгляде, в интонациях было столько внимания, понимания и дружелюбия, что это создавало вокруг него особую атмосферу искренности, доверия и взаимной прязни.

Тем, кто не знал его близко, он должен был казаться всего лишь очень пожилым, немощным калекой. По существу, тяжелый инвалид — после инсульта он до конца жизни подволакивал ногу и с трудом владел рукой — он, ничего для этого не предпринимая и наверняка не осознавая этого, был для нас образцом высокого достоинства, камертоном и эталоном, с которым мы невольно сверяли свои намерения и образ мыслей. Рядом с ним невозможно было предаваться унынию, проявлять слабость, поскольку и самое глубокое отчаяние было несравнимо с тем, что должен был испытывать этот человек, лишенный самых простых, доступных каждому радостей жизни, обреченный доживать свой век в состоянии постоянного психологического надлома от сознания собственной беспомощности.

Теперь, вспоминая нашу прежнюю жизнь в той компании, я думаю, что силой духа, бескорыстием и бездонной добротой — не перечить, сколько он, помогая другим, предложил идей, отредактировал текстов, дал советов — этот человек в немалой мере повлиял на наше отношение к работе, к людям, к жизни. Тогда мы не задумывались об этом, и лишь когда его не стало, когда проститься с ним в просторном холле института собралось столько народа, сколько не приходило ни к кому из наших сотрудников, нашлись слова о мужестве и стоицизме, а по существу — о настоящем человеческом подвиге. Для всех нас это была большая, а для некоторых — невосполнимая потеря, но тогда мы еще не знали, что с ним уходила в прошлое наша жизнь.

Я не посвящал Андрея в подробности своей работы в институте и лишь однажды во время нашей первой встречи в «Метрополе» в самых общих чертах рассказывал, чем мы занимаемся. Колчанов с его цепким умом все запомнил, и эта тема неожиданно снова всплыла в наших разговорах. Он позвонил мне в начале октября и сказал, что накануне вернулся с французской Ривьеры, где познакомился с первым помощником одного из вице-премьеров. В разговоре с ним Андрей как бы между прочим упомянул, что у него на неформальном уровне сложились хорошие отношения с людьми из авторитетного академического института, где занимаются исследованием проблем современного развития. Если первого помощника интересуют свежие идеи ученых мирового уровня, то он, Колчанов, может посодествовать налаживанию деловых контактов. Помощника — живого, смышленного и, по словам Андрея, очень хваткого сорокалетнего парня — свежие идеи интересовали, и он попросил по возвращении в Москву показать ему что-нибудь из разработок нашего института.

— Понимаешь, Гера, это наш с тобой шанс, — возбужденно басил Андрей в трубку. — Я давно ждал случая выйти на такой уровень. А для Таганцева это тоже реальная возможность отметиться перед своим начальством. Так что давай, не мешкая, посоветуйся со своими мужиками, подберите какую-нибудь бумагу — справку, что ли, или как это там у вас делается, — чтобы через пару-тройку дней я мог отдать ее этому чину.

— Нет, так дело не пойдет, — возразил я. — Чтобы произвести нужное впечатление, надо дать ему не что попало, а подготовить материал по профилю его ведомства.

— На это уйдет слишком много времени, а тут все надо проверить как можно быстрее, пока он не забыл о нашем разговоре.

— Не беспокойся. Завтра я поговорю с людьми, послезавтра соберем их у тебя на Фрунзенской — в институте нам заседать неудобно, поскольку это все же «левая» работа.

— Не вопрос! Все обставим по высшему разряду! И предупреди своих: если ваша разработка будет на уровне, я очень хорошо заплачу. Ты понимаешь, насколько это важно для меня, так что скупиться я не стану. Кроме того, если все получится, потом под это дело наверняка можно будет организовать госфинансирование, и внакладе никто не останется.

На следующий день утром я первым делом пошел к Литаврину и рассказал ему о предложении Андрея. Упомянул и о том, что тот обещал хорошо заплатить. Литаврин предложил об оплате пока никому не говорить: заплатит — хорошо, не заплатит — горевать не станем. С нас будет достаточно и того, что мы сможем довести до сведения вице-премьера точку зрения серьезных исследователей, минуя бюрократические инстанции его ведомства.

Литаврин считал, что для этой работы лучше всего подходит жанр обзоров, которые во времена перестройки я писал по распоряжению директора института «на самый верх» по публикациям западных советологов о реформах в СССР. Мы тогда очень поднаторели в изготовлении таких материалов — Литаврин выступал в качестве консультанта и редактировал мои тексты, — и я не раз слышал одобрительные высказывания относительно их уровня от заместителя директора, который курировал эту работу.

Андрей обставил заседание экспертного совета с большой помпой. В пятницу после окончания рабочего дня нас доставили на Фрунзенскую на трех автомобилях, в просторной светлой комнате с большим столом две девицы модельно-делового вида обносили участников сбора кофе, работали две стенографистки. Мои коллеги, не избалованные таким приемом, приосанились, излагали свои соображения четко, хотя, стараясь быть убедительными, порой излишне пространно. Я делал себе пометки, чтобы сразу выделить главное, и уже к середине обсуждения стало ясно: если убрать длинноты и спрямить некоторые сюжетные линии, из всего сказанного получится очень добротный аналитический обзор.

Материала оказалось много, даже слишком много — почти шестьдесят страниц машинописного текста. Времени было в обрез, два дня и часть ночи я работал не вставая и в понедельник утром отнес распечатку Литаврину. Он подредактировал текст и, возвращая его мне для внесения окончательной правки, сказал: «Думаю, нашему заказчику не к чему будет придраться».

Еще до обеда я по электронной почте отправил обзор Андрею и хотел предупредить его, чтобы он не откладывая прочитал наш материал. Однако на мой звонок секретарша ответила, что у господина Колчанова совещание, и просила позвонить часа через полтора, а лучше через два. Я не стал ждать и набрал номер его мобильного. Он сразу ответил на звонок, видимо, держал телефон под рукой. Я в телеграфном стиле отчеканил, что отослал ему наш обзор, и попросил, чтобы он как можно скорее прочитал его.

Думаю, тоном моего торопливого, но четкого высказывания мне удалось донести до него важность момента и то напряжение, которого потребовала эта работа. Не прошло и двадцати минут, как у меня в кармане затрезвонил телефон, и Ан-

дрей, как мне показалось, в приподнятом тоне поделился со мной впечатлением о нашей записке.

— Классная работа, Гера! Все очень четко и понятно. Я и раньше пытался читать то, что пишут серьезные спецы, думал почерпнуть для себя что-нибудь полезное. Но они умничают, разводят такое наукообразие, что ничего невозможно понять. Я сегодня же созвонюсь с этим Таганцевым, перешлю ему текст, а еще лучше встречу с ним и сам отдам ему распечатку. Так оно будет вернее. Да и напомнить о себе лишний раз совсем нелишне.

Договорились, что, как только он получит от Таганцева ответ, сразу свяжется со мной. Признаться, я с нетерпением ждал его звонка — любопытно было, что получится из нашей затеи, а кроме того, я вовсе не прочь был заработать сам и дать такую возможность нашим ребятам. Но ни во вторник, ни в среду звонка от Колчанова не было, и я забеспокоился. Наконец в пятницу, как раз когда мы собрались в обеденный перерыв у Литаврина, в трубке своего мобильного я услышал вкрадчивый голос Андрея.

— Гера, ты не мог бы заехать сегодня ко мне в удобное для тебя время? Есть небольшой разговор.

По его тону невозможно было определить, что ждет меня на Фрунзенской. Я решил, что таким образом мой приятель хочет подчеркнуть значимость момента — выплаты гонорара за «классную работу». Когда часом позже вслед за секретаршей я вошел в его кабинет, Андрей встал мне навстречу, лучась дружелюбием.

— Андрей Григорьевич, подать кофе? — спросила секретарша (теперь это была крупная блондинка в очень короткой юбочке).

— Мне кофе, а господину Травину, пожалуйста, чай. Вероника, тот самый, не в пакетиках, помните? — уточнил он.

— Конечно, Андрей Григорьевич, не беспокойтесь.

Не успели мы расположиться на диване за журнальным столиком, как раздался несмелый стук в дверь. В приоткрывшуюся щель заглянул молодой службист с одутловатым, как бы отечным лицом, в мешковатом свитере. Изредка бывая на Фрунзенской, я еще раньше обратил на него внимание и почему-то решил, что он пользуется особым расположением гендиректора.

— Андрей Григорьевич, разрешите?

— Что у вас, Гена?

— Я хотел доложить...

— Что-нибудь срочное?

— Нет, не очень, — чуть замямвшись, проговорил службист.

— Тогда попозже. Сейчас я занят, — и как только дверь за Геной закрылась, обратился ко мне: — Очень старается парень, далеко пойдет. Я поручил ему втихаря отслеживать моральный климат в компании, чтобы люди не сачковали и не злоупотребляли моим доверием. Знаешь, это очень оздоравливает обстановку. Каждый старается работать и вести себя так, чтобы не к чему было придраться.

Чувствуя, как во мне нарастает раздражение — не для того я в рабочее время тащился на Фрунзенскую, чтобы распивать чай и выслушивать соображения своего приятеля о современной деловой морали, — я решил набраться терпения, хотя благодушный настрой Андрея явно настораживал. Как назло, едва он успел высказать свои соображения о пользе стукачества, в дверь снова заглянула Вероника.

— Андрей Григорьевич, к вам Рома Пинчуков. Примете его?

— Да-да, конечно! Я давно его жду...

В дверях, переминаясь с ноги на ногу, возник крупный малый с красным, как бы удивленным или недоумевающим лицом.

— Заходите, Роман. Как дела? Удалось объяснить этому невеже, что он не прав?

Роман, поминутно спотыкаясь и перемежая свой рассказ многочисленными «в общем, это», «короче» и «значит, так», поведал о том, как они подкараулили «невежу» у его базы, поехали за ним, в подходящем месте перегородили ему дорогу, вытащили из тачки и хотели посадить в свою, чтобы отвезти в место поспокойнее и там разобратся с ним, однако он сильно сопротивлялся и стал громко кричать: «Помогите! Убивают!»

— В общем, короче, это — пришлось стукнуть его по тылке и отвалить, — мрачно заключил Роман, глядя в сторону.

— Что думаете делать дальше? — проговорил явно недовольный Колчанов.

— Не беспокойтесь, Андрей Григорьевич, все продумаем, сделаем и доложим, — проямлил Роман, который во время доклада стоял почти навытяжку с повисшими большими красными руками.

— Вот и действуйте, — отчеканил Колчанов, а когда Роман вышел, сокрушенно покачал головой. — Неправильно все сделали, ребятки. Никак не освоят современные политтехнологии. Сколько раз я им объяснял, что надо действовать жестко, но вежливо. Кстати, не подумай плохого, — спохватился он. — Это я велел им немного проучить директора базы, который взял у нас партию товара, выплатил задаток, а теперь говорит, что больше нам ничего не должен... Ну да ладно, не таких обламывали, и этот никуда не денется.

— Может, все-таки вернемся к нашим баранам? — сказал я, уже не пытаюсь скрыть раздражение.

— Да, конечно, — начал он, неторопливо прихлебывая остывший кофе. — Понимаешь, Гера, тут какая история. Ваша записка этому Таганцеву, как и мне, понравилась. Он прямо сказал, что ему нечасто приходится читать такую толковую аналитику. Все выглядит на редкость убедительно, но есть одна проблема. Ваши идеи очень здравые, но слишком радикальные. Чтобы их использовать, пришлось бы перестраивать механизм управления этими отраслями. Не знаю, показывал ли он вашу записку своему шефу или высказал только свое мнение, но это уже неважно. Короче, он эту работу не принял, поэтому платить мне твоим спецам пока не за что. А тратиться впустую, сам понимаешь, неохота.

— Конечно, я понимаю. Но ты мог бы сказать мне об этом и по телефону.

— погоди. Ты не переживай. Лично твой интерес не пострадает. Для нас с тобой все только начинается. Вчера вечером я встречался с этим Таганцевым и, знаешь, вполне реально почувствовал, как изменилось его отношение ко мне. Он наверняка понял, что мы можем быть ему очень даже полезны. Так что я твой должник и в долгу не останусь, — с этими словами он полез во внутренний карман пиджака, достал конверт, сложенный под размер купюр, и с доброй, почти отеческой улыбкой положил его передо мной на журнальный стол. — Тут очень приличная сумма. Уверен, что мало тебе не покажется.

Боюсь, что у меня на лице отразилась растерянность, а может быть, и замешательство. Откровенно говоря, я меньше всего ожидал такого завершения затеи с экспертным советом и с благодарностью подумал о предусмотрительности Литаврина. Если бы не он, не представляю, как бы я после этого разговора с Колчановым смотрел в глаза самому Борису Марковичу, Тропольскому, Ладнову и остальным.

— Ну что ты, Андрюша! — воскликнул я с самым простодушным видом. — Это совершенно лишнее! Мы же не ради денег старались. Для нас важна была идея. Конечно, мужики огорчатся, что их соображения не дойдут до вице-премьера. Нам всем хотелось сделать что-то полезное, но если они там и правда считают такой подход слишком радикальным, их можно понять — радикальных идей никто

не любит. Так что оставь эти бабки себе, ты наверняка найдешь им лучшее применение. В конце концов, сделаешь внеплановый подарок Веронике.

Во время этой короткой отповеди я внимательно смотрел ему в лицо и с удовольствием отметил, что снова могу чем-то пронять своего невозмутимого приятеля. Такого ответа он явно не ожидал.

— Ты это серьезно? — спросил он недоверчиво.

— Вполне.

Андрей поджал губы и изменился в лице. Я всегда был силен задним умом и только позже сообразил то, что сразу уловил мой приятель: этим отказом я поставил себя выше тех отношений, где все решают деньги, выгода, личный интерес, а значит, выше него, уважаемого бизнесмена и миллионера Андрея Григорьевича Колчанова.

— Ты не прав, — сказал он твердо, поднялся с дивана и стал ходить по комнате. — Нельзя так жить, Гера! Нельзя быть таким лохом. Ты потому ничего и не добился в жизни, что не используешь даже тех возможностей, которые сами плывут тебе в руки, — говорил он, отдельно и внятно произнося каждое слово. — Запомни, Гера: с волками жить — по-волчьи выть, иначе всегда будешь оставаться в дураках.

Мне было что возразить Андрею. Я мог бы сказать ему, что, возможно, он прав, но, к счастью, не все думают так, как он, что имеет право на существование и другая точка зрения. Просто мы с ним по-разному смотрим на многие вещи и потому не можем понять друг друга. Мне было что ответить ему, но я промолчал, потому что уже в начале его короткой, но энергичной тирады потерял интерес к разговору и стал смотреть в окно.

Там жила знакомая картина — живописная печаль и красота Нескучного сада в красках осени, колоннада белой ротонды у воды на фоне золотых крон деревьев набережной, небо, подернутое легкой дымкой; над водой, медленно взмахивая крыльями, скользили две белые чайки. Вспомнилась «Осень в дубовых лесах» Юрия Казакова, мелькнула неуместная и нелепая мысль: кругом столько красоты, жить бы да радоваться, а мы заняты какой-то возней, когда каждый, по выражению самого Андрея, выкручивает свою поганку.

А между тем он продолжал свой монолог:

— Знаешь, Гера, ты мне сильно напоминаешь того чистоплюя, помнишь, у Шульгина, поручик Л.? Армия разбита и драпает, каждый тащит все, что плохо лежит, сынки из благородных семейств мародерничают, а этот придурок делает вид, что его это не касается. Дескать, он выше такой прозы. Нельзя так жить! — повторил он убежденно.

Тогда я пропустил его слова мимо ушей, мои мысли были заняты другим, но позже я вспомнил этот разговор. Вспомнил, что еще в ту пору, когда мы много читали и много говорили о прочитанном, я раздобыл у одного старинного друга нашей семьи, профессора-востоковеда, две потрепанные книжицы мемуаров Шульгина, изданные в двадцатые годы, — «Дни» и «1920». Как видно, поручик Л., о котором писал Шульгин, все эти годы продолжал жить в каком-то закоулке души моего приятеля, время от времени напоминая ему о себе.

Позже, вспомнив этот разговор, я купил новое издание мемуаров Шульгина, в главе, посвященной «ледовому» походу остатков разбитой Белой армии, покидавшей Россию, отыскал этого человека, и мне стало понятно раздражение Андрея. Поручик Л. не вызвал ни уважения, ни симпатии, может быть — немного сочувствия, настолько он был не от мира сего. Вот что писал Шульгин: «Я чувствую твердую опору в поручике Л. Он самую малость сноб. В сущности говоря, ему нравится следующее: взять ванну, сесть за стол, покрытый чистой скатертью; выпив кофе, он

покурил бы и написал бы небольшую статью; потом бы сел за рояль и сыграл „Valse triste“ Сибелиуса. Но за неимением всего этого он сохраняет неизменную любовь ко всем и ласковость к некоторым. И этим держится. Это своего рода защитный цвет, выработанный „драпом“».

Несходство наших взглядов проявилось еще в те годы, когда мы были дружны и много времени проводили вместе. Однажды Андрей увидел у меня на столе страницу с машинописным текстом — я напечатал на ней несколько понравившихся мне выдержек из «Доктора Живаго». Роман мне дал на два дня сам Колчанов, в свою очередь получивший его от бывшего школьного товарища, ставшего известным диссидентом.

— Неужели тебе это нравится? — удивился он. — А я такую тягомотину обычно пропускаю.

— Как же это может не нравиться? — возразил я. — Послушай: «В час седьмой по церковному, а по общему часоисчислению в час ночи, от самого грузного, чуть шевельнувшегося колокола у Воздвижения отделилась и поплыла, смешиваясь с темною влагою дождя, волна тихого, темного и сладкого гудения. Это была ночь на Великий четверг, день Двенадцати Евангелий».

И я стал увлеченно говорить о том, что без этого фона, без таких настроений это была бы совсем другая книга, может быть, не менее душещипательная, но другая — лишенная воздуха, света, ощущения красоты и радости жизни, которое придает особый трагизм судьбе ее героев, что Пастернак наверняка сам пережил нечто подобное, раз смог так написать об этом. Андрей внимательно, не перебивая, выслушал меня и очень серьезно сказал:

— Все это одни фантазии, которые существуют только в твоём воображении. Ничего этого в реальности нет.

Я промолчал. Мне нечего было возразить ему, кроме общих слов, а они, как известно, ничего не говорят. Думаю, его не убедила бы даже ссылка на Лермонтова, записавшего в «Журнале Печорина», что есть вещи, ускользающие от определения, но понятные сердцу, — она наверняка показалась бы Андрею красивой, но пустой игрой слов. Эту же мысль, хотя в другой фразировке, высказал однажды случайный сосед по столику в пивном погребе Дома журналиста. Строго глядя на меня осоловелыми водянистыми глазами и назидательно подняв палец, он хрипло проговорил: «Учти, русский человек пьет не оттого, что ему плохо живется, а потому, что хочет понять чего-то такое, что понять никак невозможно».

Я ничего не ответил Андрею и лишь подумал тогда, что, похоже, для моего приятеля осталось недоступным лучшее, что есть в романе, — мир высокого строя мыслей, проникновенных настроений, красивых чувств, утонченное ощущение внутренней свободы и окрыленности. Мир, реальность которого я чувствовал, когда читал роман и, особенно отчетливо, когда в доме Пастернака в Переделкине, прежде чем меня остановил гневный окрик сотрудницы музея, коснулся рукой его темно-синего плаща из прорезиненной ткани, который висит там на втором этаже на крючке в торце шкафа. Плаща, в котором он запечатлен на известном фотоснимке в своем осеннем саду, — одинокий, подавленный и отрешенный, как сам Юрий Андреевич Живаго в конце романа.

Наверняка именно в этом плаще он ходил к Ивинской, жившей в Переделкине на даче за прудом, той Ольге Ивинской, с которой он писал свою Лару. Не ту Лару, которую сыграла в кино Джули Кристи, а спустя сорок лет — Чулпан Хаматова, но подлинную Лару, которую можно увидеть в старой семейной кинохронике, когда в кадр попадает очаровательная и застенчивая Ольга Всеволодовна Ивинская.

Только увидев ее, можно понять, какие чувства должен был испытывать Пастернак, когда писал роман, пытаюсь воссоздать этот образ, обессмертить свою любовь. И тогда слова, с которыми к ней обращается со страниц романа Юрий Живаго, уже не кажутся слишком напыщенными и потому фальшивыми.

Если прав был Андрей, мне пришлось бы признать, что не существовало всего того, чем жил тогда Пастернак и что до сих пор заставляет людей в последних числах мая съезжаться в Переделкино к этому дому и зачарованно слушать звуки рояля, доносящиеся из его окна, словно из прошлой жизни — той жизни, где была его Лара, где было так много чистых, искренних, красивых чувств, драматичных переживаний. Но с этим я согласиться не могу, потому что тогда мне пришлось бы считать, что не было и самого лучшего из всего, что осталось в моей прошлой жизни.

Не было, например, вечера, который однажды на Святках благодаря Бунину я провел в Большом Московском в компании знакомого композитора и его друзей. Но я слишком хорошо помню зал этого ресторана в бледном свете зимнего дня, столы, покрытые тугими белоснежными скатертями. Помню рассказ композитора о его встрече с Идой на второй день Рождества в буфетной зала ожидания какой-то узловой станции, когда она увела его на дальнюю заснеженную платформу, чтобы там, среди морозного безмолвия, признаться ему в любви. Помню белизну заваливших все вокруг сугробов, искрящийся на солнце снег, аромат морозного воздуха, помню фиалковый цвет глаз и внезапную бледность взволнованного лица прелестной молодой женщины, только что решившейся на самый, может быть, отчаянный поступок в своей жизни. Слишком хорошо помню все это, чтобы допустить, будто в моей жизни этого не было.

Ведь если так, то не было и Насти, потому что все, связанное с нею, существует только в моем воображении, — нашу лачугу давно снесли, сад вырублен новыми хозяевами, а сама Настя смотрит теперь на окружающее своими мечтательными и доверчивыми глазами с овального медальона на скромном надгробии неподалеку от сторожки переделкинского кладбища. Она умерла в сорок два года от внезапной остановки сердца — взшла на веранду, тихо ойкнула и повалилась без чувств. Об этом мне рассказала ее соседка, когда, принимаясь за эти заметки, я поехал в Переделкино, чтобы снова пройти по знакомой дорожке от станции до Чоботовской аллеи, попасть в реальность прошлой жизни.

Наконец, если прав был Андрей, не было и вечера на Ратлэнд-гейт у соседки и приятельницы моей лондонской тетушки, миссис Тёрл. Но с этим я ни за что не соглашусь хотя бы потому, что никогда больше не испытывал того, что пережил в этой голубой гостиной, обставленной ампирной мебелью, нигде не встречал таких людей. Джордж Уэбстер, очень пожилой седовласый джентльмен в роговых очках и с тростью, восседал в кресле, словно живой персонаж, сошедший со страниц моих любимых романов Ивлина Во или Ричарда Олдингтона. В нем было спокойное достоинство человека, который помнил могущество империи и знал лучшие времена, о чем напоминала красная гвоздика в петлице его элегантно-клубного пиджака. Как рассказала мне потом тетушка, он принадлежал к известной фамилии потомственных дипломатов, немало сделавших для славы и величия Британии.

Не могу забыть и Татьяну Ивановну Бенкендорф. Глядя на благородные черты лица этой пожилой дамы, любуясь неброской изысканностью ее манер, подмечая красоту ее языка, когда она переходила на русский, дивясь точности и остроте ее реплик и замечаний, — за три с половиной часа, проведенных в ее обществе, я узнал о том, что потеряла, чего лишилась Россия в результате революции семнадцатого года, больше, чем из всех документальных фильмов и мемуаров эмигрантов первой волны, вместе взятых.

Или сама миссис Тёрл... Пожалуй, ни в ком, кроме Литаврина, я не встречал такого дружелюбия, искренности и простоты. Через десять минут после знакомства, пока остальные гости взволнованно обменивались впечатлениями, разглядывая привезенный мной подарочный альбом с видами храмов и монастырей, эта маленькая, круглая, как колобок, очень пожилая женщина обратилась ко мне с такой сердечной улыбкой, словно мы были знакомы и дружны много лет: «Знаете, больше всего на свете я люблю поиграть в бридж и немножко выпить в приятном обществе. Вы составите мне компанию?»

А я не мог отвести взгляд от иконы с образом Богородицы в золоченом киоте, висевшей на стене, обтянутой голубой тканью. Заметив это, миссис Тёрл пояснила, что ее родственник в девятнадцатом году командовал линкором, который увозил из Крыма в эмиграцию вдовствующую императрицу. Икону подарила своему спасителю сама Мария Федоровна или по ее повелению кто-то из ее ближайшего окружения — кто именно, я не запомнил, настолько меня поразила мысль, что этот образ Богородицы был не просто свидетелем, но участником одной из самых страшных катастроф, унесшей и исковеркавшей миллионы жизней, изменившей ход мировой истории.

Не берусь передать свои ощущения, но этот образ в золотом киоте стал для меня средоточием бездонного драматизма событий восьмидесятилетней давности. Именно там, на Ратлэнд-гейт, я с особой отчетливостью и остротой прочувствовал их не только как одну из трагедий, не имеющих срока давности, но и как нашу семейную драму, потому что лавина той вселенской катастрофы обрушилась и на мою родню: один с женой-француженкой и двумя детьми погиб в восемнадцатом году под Владикавказом от рук каких-то головорезов, другой сгинул в парижской эмиграции, третий канул в небытие в тридцать седьмом в одном из лагерей смерти. Еще один, мой дед, был репрессирован в тридцатом году по делу Промпартии — первому из сфабрикованных тогда политических процессов.

Должно быть, что-то делалось с моим лицом, потому что миссис Тёрл обеспокоенно спросила: «С вами все в порядке?» Впрочем, если прав был Колчанов, то мне пришлось бы согласиться, что все вышесказанное — лишь фантазии, которые существуют только в моем воображении. Но с этим я, даже из уважения к памяти Андрея, ни за что не соглашусь.

Этот вечер на Ратлэнд-гейт мне вспомнился много позже, когда я был в Петербурге. Надо сказать, что у меня особое отношение к этому городу, потому что там остался главный корень моей жизни и души. Там, на Гороховой, под номером сорок, до сих пор стоит дом, который когда-то принадлежал моему прапрадеду, где появилось на свет несколько поколений моей родни.

Меня гонит туда застарелая тоска по прошлой жизни, по тому величию и красоте, которая сохранилась в облике этого прекрасного города. Я брожу по улицам и набережным каналов, иду в Екатерининский сквер, в Михайловский сад к павильону Росси, люблюсь видами Невы и Петропавловской крепости, архитектурой храмов и дворцов. У Спаса на крови в который уже раз перечитываю на мраморной плите слова обета Александра Второго, данного им при восшествии на престол: «...иметь всегда единою целью благоденствие Отечества Нашего».

Мне необходимо хотя бы изредка бывать там, чтобы не утратить ощущение реальности пусть навсегда ушедшей, но от этого не менее близкой, понятной и дорогой для меня жизни, где было столько высоких помыслов, подлинного достоинства, искренних чувств, душевных привязанностей, где дружба и любовь рождались из взаимных симпатий, а не соображений выгоды или престижа. Я знаю эту жизнь по

рассказам старейшин моей родни, которых застал в живых, по письмам и семейным фотографиям, которых у меня сохранилось великое множество, — от выпуска Павловского института 1904 года с моей восемнадцатилетней бабушкой среди трех десятков других институток и их профессоров в не существующем теперь саду на Знаменской до последнего съезда нашей родни на какой-то юбилей в усадьбе в Стругах Белых незадолго до революции. Их письма хранят дух, атмосферу, чувства и настроения прежней жизни, с этих пожелтевших страниц и старых открыток до сих пор веет сердечностью и добротой, заботой и участием, тревогой и радостью за самых близких и дорогих.

И куда бы я ни шел, тяга к этому прошлому приводит меня на Гороховую. Я сижу в скверике во дворе их дома, смотрю на окна их бывшей квартиры во втором этаже, предаюсь размышлениям о катастрофе, которая прервала ту жизнь, разорила наше родовое гнездо, разметала по всему свету мою родню. Там, во дворе дома на Гороховой, я и вспомнил вечер в гостиной миссис Тёрл, где на меня такое ошеломляющее впечатление произвел образ Богородицы, когда-то подаренный вдовствующей императрицей капитану линкора, увозившего ее из Крыма в изгнание. А потом, рассеянно размышляя о превратностях судьбы, я вернулся мыслями к Андрею.

Мы не виделись больше двух лет, но я часто думал о нем с тех пор, как узнал от Кости, что мой бывший приятель неизлечимо болен. Тогда, в Петербурге, я думал о том, что он должен был тоньше и острее меня чувствовать былое величие этой страны, гордиться им, помнить о своей — пусть самой скромной — причастности к той культуре, которая породила это могущество и красоту. Ведь если мой предок был всего лишь купцом второй гильдии, то Колчанов по материнской линии вел свою родословную от одного из видных просветителей и творцов той культуры, которая стала основой этого величия и славы. В эпитафии его предка с полным основанием могли бы стоять известные слова о том, какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало.

Я не решаюсь назвать его имя, хотя оно известно каждому, потому что тогда особенно удручающей покажется картина всеобщего упадка и деградации, если даже отпрыск такого славного предка погрузился в стихию отношений, где всем движут личная выгода, деньги, корысть и зависть, где процветают лицемерие, фальшь и откровенный обман. Хорошо зная Андрея, зная его способность к парадоксальным решениям житейских проблем и неожиданным выходкам, я мог ожидать от него чего угодно, но не допускал мысли, что он способен опуститься до откровенного бандитизма.

После размолвки из-за оплаты обзора по материалам нашего экспертного совета Колчанов мне больше не звонил. Я решил, что он обиделся, и, признаться, почувствовал облегчение. С некоторых пор меня стали тяготить наши отношения и его напор, которому я ничего не мог, да и не считал нужным противопоставить. Я был уверен, что на этот раз он исчез из моей жизни навсегда, но снова ошибся. Он неожиданно позвонил на исходе зимы и после короткого «Привет!» подчеркнуто жестким тоном спросил:

- Где твой приятель, которого ты мне рекомендовал привлечь к работе?
- Какой приятель? — переспросил я.
- Ну, этот, как бишь его зовут... Который был в Чернобыле.
- Его зовут Валентин Смолин. Но я его тебе не рекомендовал, а всего лишь сказал, что он несколько лет работал там дозиметристом. Идея использовать его льготы для бизнеса пришла в голову тебе самому, — отчеканил я, почуяв недоброе.

— Короче, он задолжал моей фирме приличную сумму и теперь вздумал от нас бегать. Мои люди уже неделю не могут застать его дома. Где он?

— Не знаю. Я уже не помню, когда в последний раз общался с ним.

— Если он появится, скажи, что у меня к нему есть серьезный разговор, — сказал Колчанов и положил трубку.

Я действительно не знал, где Валентин. Мы лишь изредка разговаривали с ним по телефону, а виделись последний раз, пожалуй, не меньше полугода назад. Он много работал, видимо, хорошо зарабатывал, потому что повадился ездить в Турцию, в Египет, в Эмираты, в деревне под Муромом перестраивал дом, доставшийся ему от кого-то из родных.

Звонок Андрея меня встревожил. Я пробовал сам дозвониться Смолину, но к домашнему телефону он не подходил, а по мобильному был «временно недоступен». Сестра — ее телефон я отыскал в старой записной книжке — сказала, что Валентин уже несколько дней у нее не появлялся. Полина, бывшая жена, не видела его и того дольше — тех пор, как он привез какие-то лекарства для их дочери.

А на третий день после звонка Колчанова объявился сам Валентин. Он позвонил и сказал, что ему нужно срочно со мной поговорить. Я предложил, как обычно, встретиться на Арбатской площади у метро и пойти в Дом журналиста, но он мрачно ответил, что не может отлучиться из дома. Войдя через сорок минут в его квартиру на Октябрьском поле, я понял почему: на левой щеке у моего приятеля был кровоподтек зловещего лилового цвета, а на скуле — большая марлевая наклейка.

Не стану дословно пересказывать наш разговор, он занял довольно много времени, поскольку мне пришлось по нескольку раз переспрашивать и уточнять детали. В рассказе Смолина были неточности и нестыковки, а тут нужна была полная ясность, поскольку — и это стало понятно сразу — мне предстояло очень неприятное объяснение с Колчановым.

Вот что поведал мне Валентин. Накануне, когда в одиннадцатом часу утра он вышел из дома, во дворе к нему подошли два плечистых молодых человека и сказали, что у гендиректора «Ракорда» есть к нему вопросы, а поскольку дозвониться ему невозможно, они сами проводят его в офис компании. При этом они предложили ему занять место в стоявшем тут же «гелендвагене», где сидел еще один такой же здоровяк. Смолин пытался возражать, тогда они силой затолкали его в машину.

Поездка закончилась не на Фрунзенской, а где-то за городом — где именно, Валентин сказать не мог, поскольку скоро перестал ориентироваться и даже не мог сообразить, по какому шоссе они выехали из Москвы. Отъехали сравнительно недалеко, проезжая через какой-то поселок, свернули с трассы в боковой проулок и скоро оказались на безлюдной опушке леса. Там все трое вылезли из машины и высадили Валентина. «Будешь платить долг?» — спросил один. «Я никому ничего не должен», — ответил Валентин, но не успел закончить фразу. От сильного удара в лицо он упал в снег. Трое службистов стали молча избивать его ногами, потом привязали к дереву, и перед тем, как уехать, один из них пригрозил: «Учти, если не заплатишь, в следующий раз с такой прогулки не вернешься».

Очевидно, они намеренно привязали его так, чтобы он мог самостоятельно освободиться, и, провозившись минут двадцать, Валентин сумел распутать веревку. К шоссе он шел, едва переставляя ноги, его шатало, тело болело от побоев, голова гудела, до лица нельзя было дотронуться. На его счастье, когда он вышел на трассу, мимо проезжала патрульная машина ДПС. Они подобрали Смолина и, выяснив, в чем дело, отвезли его в районное отделение РУБОП. Там ему предложили написать заявление и сказали, что будут ждать от него сигнала, чтобы дать этому делу ход.

Разговор с Валентином вышел долгим и болезненным для нас обоих. Я до тошно выпытывал у него подробности этой истории, чем вызвал его раздражение и откровенное недовольство. Оказалось, что некоторое время назад Смолин отправил одному из своих клиентов в Курск партию товара на консигнацию, то есть без предварительной оплаты. Все сроки давно прошли, но деньги на счет «Ракорда» оттуда так и не поступили. Валентин пытался дозвониться до своего клиента, даже ездил в Курск, но разыскать партнера не смог: его контора была закрыта, а других адресов Смолин не знал. Стало понятно, что тот намеренно скрывается от него. Неприятная новость дошла до гендиректора. Колчанов вызвал Валентина к себе и предложил подумать, как он будет погашать долг, иначе, сказал он, могут быть серьезные неприятности. Самое простое, по его словам, — продать черныбыльскую квартиру.

Рассказ Смолина поверг меня в шок. Хорошо зная Андрея, я все же не предполагал, что он может опуститься до примитивного бандитизма. Сначала я хотел ехать прямо на Фрунзенскую, но, взглянув на себя в зеркало в прихожей Валентина, решил, что в таком состоянии встречаться с Колчановым не следует: у меня было неестественно напряженное лицо, глаза лихорадочно блестели. Я чувствовал себя выбитым из колеи, а потому решил отложить визит до завтра. Необходимо было успокоиться и все тщательно взвесить. Иначе, подумал я, Колчанов с его волевым напором легко загонит меня в угол, и результат разговора может оказаться прямо противоположным тому, на который я рассчитывал.

Передышка пошла мне на пользу — когда на следующий день в двенадцатом часу я поднялся на четвертый этаж дома на Фрунзенской и позвонил в офис «Ракорда», то был не только спокоен, но и настроен весьма решительно. Вероника доложила шефу о моем приходе и попросила немного подождать. Прослонявшись у двери его кабинета больше десяти минут, я сообразил, что Андрей намеренно выдерживает меня в прихожей, а потому, ни слова не говоря, надел куртку, вышел из квартиры, без стука прикрыв за собой дверь, и вызвал лифт. Через несколько секунд дверь колчановских хором распахнулась, и из нее вылетела взволнованная Вероника.

— Господин Травин, куда же вы?! — воскликнула она. — Ведь Андрей Григорьевич вас ждет!

Он был в кабинете один, сидел за письменным столом и просматривал какие-то бумаги. Он не встал мне навстречу, не подал руки и после короткого «Привет!» кивнул на диванчик, стоявший перед его столом. Опустившись на него, я сразу стал почти на целую голову ниже Колчанова и подумал, что сюда он сажает провинившихся сотрудников, чтобы поставить их на место.

Я прямо перешел к делу.

— Ты интересовался Смолиным. Вчера я видел его.

— Значит, теперь ты в курсе наших проблем, — сказал он, откладывая бумагу, которую держал в руках. — Тем лучше. Поможешь нам разругать эту ситуацию.

— Чем же я могу помочь?

— Будешь у нас третьей стороной как незаинтересованная сторона.

— Вряд ли я смогу быть объективным, поскольку вы оба — мои старые приятели.

Надо придумать что-то другое.

— Что, например?

Мне с самого начала не нравилось, что Андрей смотрит на меня из своего кресла сверху вниз, как бы свысока, поэтому прежде, чем ответить, я встал, взял от большого стола один из стульев и сел напротив него.

— Валентин мне достаточно подробно рассказал, как твои бандиты...

— Это не мои бандиты! — перебил Колчанов.

— Пусть не твои. Но действовали они наверняка по твоей наводке.

— Я действительно поговорил с профессионалом, который решает эти вопросы, — есть такой спец Джага. Объяснил ему ситуацию и поручил выбить бабки из курского клиента Смолина, который не расплатился с нами. Он обещал, что пошлет туда свою бригаду. Но такие подробности меня не касаются, мне важен результат.

— Теперь я тебе скажу, как ситуация выглядит со стороны. Ты поручил этому Джаге получить долг с курского купца, но либо он сам, либо его бандиты решили, что тащить в Курск по морозу им не резон. Поэтому одно из двух: или ты сам дал команду прессовать Смолина...

— Я такой команды не давал! Я дал команду вернуть мне бабки!

— Если ты не поручал этому Джаге колбасить Смолина, значит, его бандиты превысили полномочия. И будет странно, если ты не выставишь ему счет за то, что его люди изувечили одного из твоих лучших сотрудников и к тому же героя Чернобыля.

Колчанов слушал меня внимательно, но на его лице появилась снисходительная ухмылка. Это добавило мне злости и куража, и я продолжал более решительно:

— Имей в виду, в этой истории есть явные нестыковки. Например, непонятно, почему ты повесил этот долг на Валентина...

— Но это его клиент, за надежность которого он поручился.

— Не поручился, а всего лишь сказал, что имеет с ним дело уже полтора года и никаких недоразумений с платежами до сих пор не возникало. К тому же, насколько я знаю, решения о консигнации, или как это у вас называется, в твоей конторе принимают не рядовые сотрудники вроде Валентина, а менеджеры среднего звена. Вот с них и спрашивай. И потом, ты сказал, что когда вы обговаривали условия его сотрудничества с «Ракордом», Валентин якобы поручился своей чернобыльской квартирой за возможный кидняк. А он говорит, что обещать этого никак не мог, поскольку в квартире живут его бывшая жена и их дочь.

— Мало ли что он говорит!

— Извини, но я больше верю Смолину. Хотя бы потому, что он действительно не может оставить без жилья свою дочку и ее мать.

— Короче, меня эти подробности не интересуют, мне важен результат — вернуть свои деньги.

— А меня интересуют. Поэтому я действительно помогу вам разрулить эту ситуацию. И тут годится твоя идея насчет третьей стороны. Но нужен человек, который хорошо разбирается в таких проблемах. — Я сделал паузу и с самым простодушным видом выложил свой главный козырь: — Поэтому я еще вчера позвонил в «Московский комсомолец». Правда, в нашем отделе не осталось никого из ребят, с кем я работал, последним ушел Юра Некрасов, — добавил я для достоверности. — Но я посоветовался с Пашей Агароновым. Он считает, что эта история наверняка заинтересует их отдел криминальной хроники, тем более что Смолин — герой Чернобыля. — Я помолчал, задумчиво глядя в сторону и как бы собираясь с мыслями. — Так что они вплотную займутся этим сюжетом и во всем разберутся. В результате может получиться интересная публикация о том, как оргпреступность мешает развиваться честному бизнесу.

Колчанов встал, прошелся по комнате и остановился у окна, задумчиво разглядывая снежный пейзаж Нескучного сада. Не сразу решившись, я поставил в своем монологе последнюю точку.

— Правда, надо иметь в виду, что в этом случае вся история получит огласку. Но может, это и к лучшему. Гендиректор фирмы «Ракорд» будет выглядеть в ней как поборник справедливости и честного бизнеса, — не удержавшись, лукавил я.

Он молчал, глядя в окно. Говорить больше было не о чем. Я встал и направился к выходу, но, подойдя к двери, остановился.

— В общем, подумай. Как скажешь, так и сделаем, — добавил я, глядя ему в спину. — Но прессовать Валентина не советую. Тем более что он запомнил номер «гелендвагена» этих бандитов, — соврал я, — и замять это дело не получится. А когда подключатся РУБОП и ребята из «Комсомольца», может выйти очень неприятная история, в том числе и для тебя.

После этой аудиенции на Фрунзенской я позвонил Валентину и рассказал о разговоре с Колчановым.

— Думаю, теперь они оставят тебя в покое. У Андрея наверняка хватит ума, и он даст отбой этим бандитам. Ему очень не понравилось, что ты оставил заявление в РУБОП. Кроме того, я на всякий случай сказал, что якобы созвонился с бывшим сослуживцем из «Московского комсомольца» и тот считает, что их люди наверняка заинтересуются этим сюжетом.

— А ты не боишься, что теперь он и тебя может взять в оборот? — мрачно поинтересовался Валентин.

— Конечно, может. Но это ничего не меняет. Прогибаться перед ним я не стану.

На этом мы расстались. Очевидно, история с бандитами оставила у Смолина тяжелый осадок, и он стал избегать всех, кто был хоть в какой-то степени к ней причастен. Мы перестали видеться, он мне не звонил, а я, уловив его настроения, тоже старался не беспокоить его звонками. Когда он не появлялся несколько месяцев, я узнал от его сестры, что мой приятель окончательно перебрался в деревню под Муром, где, по словам Лиды, отстроил себе шикарный дом.

Колчанова я тоже совсем потерял из вида. Правда, изредка мне звонил Костя, видимо, когда-то распознавший во мне родственную душу. Он был мне симпатичен, но разговаривать нам было решительно не о чем, поэтому главной темой наших бесед оставался Андрей. От Кости я и узнал о болезни моего бывшего приятеля. С тех пор я часто думал о нем, но не предполагал, что когда-нибудь снова увижу его.

Он неожиданно позвонил мне в один из воскресных дней начала осени, и я не сразу узнал его, настолько изменился его голос. Ничего не объясняя, Андрей сказал, чтобы я вышел на улицу. Он ждал меня у подъезда, и мы долго потом стояли возле палисадника перед нашим домом. Он выглядел ужасно, настолько ужасно, что первые несколько минут мне казалось, будто я разговариваю с другим человеком. У него были землистое лицо, потухшие ввалившиеся глаза, нездоровая худоба, осипший голос. На него было тяжело смотреть еще и потому, что душевное состояние превратило его в незнакомого мне человека.

Очевидно, у него была острая потребность высказаться. Он сетовал, что в молодые годы доставил столько болезненных переживаний своей матери, вспомнил Машу и сказал, что до сих пор жалеет о том, как обошелся с нею. Сыну дал все, о чем может мечтать его ровесник: у него самая дорогая тачка, самые модные костюмы, а вырос ни на что, кроме тусовки, не способным бездельником, не хочет работать, попал в дурную компанию, кажется, подсел на наркотики. Он говорил — сбивчиво и бессвязно — о том, что никому нельзя верить. Службист Гена, на которого он когда-то возлагал большие надежды и считал, что тот «далеко пойдет», угнал у него две фуры с товаром, секретарша Вероника, которой он «верил больше, чем себе», обокрала его и скрылась — у нее был ключ от сейфа, где он хранил деньги.

Я осторожно возражал, что мне не совсем понятны его настроения, — ведь он добился всего, о чем мечтает современный человек. «Вспомни, ты был простым инженером и получал сто двадцать рублей, — говорил я, — а теперь у тебя куча денег, дом в Европе, целый взвод телохранителей, самые дорогие часы на руке. А что касается Гены, Вероники и прочей нечисти, — сказал я, — то это неизбежные издержки жизни преуспевающего бизнесмена. Зато теперь для тебя нет ничего невозможного, ты уверенно и комфортно чувствуешь себя на Ривьере, в самом respectable обществе, на равных участвуешь в этом празднике жизни».

Вот тут я и услышал от него фразу о том, что когда одной ногой стоишь в будущем, то на многое начинаешь смотреть другими глазами. И, все больше раздражаясь, он стал говорить о том, что эти respectable компании при ближайшем знакомстве похожи на сборища кухарок и чванливых лакеев, которые, пользуясь отсутствием господ, вырядились в их туалеты и пытаются изображать великосветское общество, как они его себе представляют. А что до праздника жизни, то на юбилее какой-то эстрадной «звезды», где он побывал по настоянию жены, когда она приезжала в Москву, участники шоу так кривлялись, паясничали и гоготали, что больше всего это напоминало булгаковский бал у Сатаны, причем в самой вульгарной постановке.

Я никогда не видел его таким озлобленным и раздраженным. Я чувствовал к нему острую жалость, изводился от бессилия помочь, облегчить душевную муку, которая терзала этого сильного и волевого человека, и хотел только одного: чтобы поскорее закончился этот мучительный разговор, чтобы он сел в свой черный «хаммер» и уехал.

Теперь, вспоминая нашу последнюю встречу, я не могу себе простить, что был к нему невнимателен, что именно тогда, когда ему понадобилось простое человеческое участие, сознание того, что он не один перед свалившейся на него страшной бедой, оставил его наедине со своими мыслями, не ободрил, не поддержал. Ведь это ко мне, которого он когда-то считал своим самым близким другом, преодолев гордыню, Андрей пришел в минуту крайнего отчаяния и душевной опустошенности. И кто, как не я, должен был встать рядом, чтобы ему было на кого опереться. Не могу примириться с тем, что еще раньше, когда он вернулся ко мне из своего respectable зазеркалья и во время наших встреч и разговоров осторожно зондировал мои настроения, пытаюсь понять, чем я живу, почему не стремлюсь выбраться из своего придонного слоя, я отмалчивался, не считая нужным что-то объяснять, хотя более чем кто-либо обязан был поделиться с ним своими мыслями.

Ведь это я посеял в его душе сомнения, не признав свое поражение в том давнем споре, который начался когда-то с «Доктора Живаго» и, по сути, продолжался на протяжении всей нашей жизни. Это я отказался участвовать в его нечистоплотном бизнесе даже ради того, чтобы выбраться из придонного слоя; я не пожелал взять деньги за обзор по материалам нашего экспертного совета; я помешал ему обмануть Валентина и отобрать у него квартиру. А значит, отчасти и я был повинен в том, что внутренний голос устами поручика Л., когда-то перебравшегося из мемуаров Шульгина в один из закоулков его души, время от времени напоминал о себе, не давая ему покоя.

Теперь я знаю: это поручик Л. сохранил в его сердце искру праведного огня, доставшуюся ему в наследство от прославленного предка, и, подобно герою «Ностальгии» Тарковского, пронес лампаду этого света через всю его жизнь. Пока он был здоров, полон сил и энергичен, Андрей отмахивался от его намеков и предостережений, как отмахнулся когда-то от наставлений инструктора в горнолыжном Вербье. Он с головой ушел в стихию бизнеса с ее захватывающими интригами,

волнующим вкусом побед и поражений, азартом борьбы, где все определяют расчет, выгода, деньги. Но когда болезнь сделала его немощным и слабым, эта искра в его душе вспыхнула, осветив надвигающийся мрак, и он увидел окружающее другими глазами. Это лишило его уверенности в себе, и все лишь потому, что я ни разу не поделился с ним своими догадками и настроениями.

Но как, какими словами можно выразить то, что остается в душе от лучших минут прожитой жизни... Как описать дни, проведенные в нашем академическом пансионате в Успенском, этот усадебный дом в стиле неоготики на высоком берегу Москвы-реки, красоту пейзажа, который открывался с обрыва над рекой, бескрайний простор полей и дальних перелесков, золото закатного небосклона над колокольной церкви в далеком Аксиньино, когда, совсем как у Бунина в «Последнем свидании», великая тишина стояла над землей. Как передать атмосферу и настроения наших вечерних чаепитий, разговоров о хорошем, дружелюбие, искренность и простоту всех этих людей — Левы Коршикова, Маши Пятаковой, Игоря Галкина, пожилого геофизика, который под гитару исполнял баллады собственного сочинения: «Кем будем мы, что есть и были? Сумеет ли прозреть сполна? Какие дни, увы, проплыли! Какая прожита пора!»

С похожим чувством я вспоминаю домик в глубине заснеженного сада на Чоботовской аллее в Переделкине, где зимними вечерами меня поджидала моя любовь. Вспоминаю, как ночью, накинув куртку, выходил на улицу, чтобы принести из сарая дров для нашей печурки. Морозец пробирал меня до костей, сквозь сетку голых березовых ветвей ярко светила луна, под ногами поскрипывал голубой искрящийся снег, и было особенно хорошо возвращаться в уют и тепло нашей лачуги. Стараясь не шуметь, я подкладывал в печку дров, подходил к постели и надолго замирал, любясь моей безмятежно спавшей принцессой Грезой.

Тогда все это казалось будничным, обыденным, заурядным и лишь теперь вспоминается как нечто сказочное, почти неправдоподобное. Как и вечер в гостинной миссис Тёрл, как те майские дни в цветущей Ялте, как теплый день бабьего лета в усадьбе Уэйкхёрст в Сассексе, самый незабываемый и, может быть, самый счастливый в моей жизни. Не берусь теперь передать свои впечатления — прошло много времени, — но у меня сохранился текст письма, которое я отправил какому-то Дэвиду Паркеру после того, как, рыская по Интернету в поисках снимков этой усадьбы, наткнулся на его сайт. «Те несколько часов, что я провел там, любясь живописными окрестностями и старинным усадебным домом с лужайкой перед ним, наслаждаясь покоем, светом и красотой этого осеннего дня, — писал я, — оставили у меня в душе ощущение полного, ничем не омраченного счастья. Помнится, я подумал тогда, что если существует Рай, то именно так должен чувствовать себя там человек. Поэтому я бесконечно благодарен вам за снимки этой усадьбы на вашем сайте — они возвращают мне память о самых счастливых минутах прошлой жизни».

Всем этим я должен был поделиться с Андреем. Я должен был рассказать ему о том, что вынес из нашего прошлого, — воспоминаниями о друзьях и сердечных привязанностях, о красоте, которая осталась в душе от той поры. Там было столько света, радости и чувства полноты жизни, что и теперь среди повседневных забот, тревог, усталости и суеты красочный мираж этого прошлого помогает не падать духом, не поддаваться унынию. Если бы я сумел выразить это словами, может быть, он поверил бы мне. Поверил, что и пребывание в придонном слое — приемлемая плата за то, чтобы жить среди дружелюбных, порядочных, мыслящих людей, сохранить потребность читать больших писателей, не утратить способность наслаждаться музыкой великих композиторов, смотреть картины выдающихся художников.

Я должен был рассказать ему о том, что способность понимать тайнопись искусства, которая приходит с годами, — это шаг вслед за великими провидцами туда, где у них наступало прозрение. И пусть лишь избранным, таким, как Микеланджело, Рублев, Бах, Достоевский, дано приблизиться к постижению замысла Творца, но способность видеть его отражения в их искусстве наполняет жизнь устойчивостью и внутренним светом. Тем светом, который виден в ликах Христа, наблюдающего за нашими делами и поступками с древних икон.

Теперь, когда наша жизнь кончилась и пишется этот постскрипtum к ней, когда уже ничего нельзя изменить или исправить, я не нахожу себе оправдания даже в том, что Андрей сам отбил у меня охоту делиться с ним своими догадками и настроениями, сказав, что все это — лишь фантазии, которые существуют только в моем воображении. Если бы он ушел несломленным, сильным, уверенным в себе, чувство вины у меня не было бы таким болезненным и острым. Но то, что он выглядел поверженным, раздавленным и глубоко несчастным, лишает меня остатков оправданий, которые я нагромождал, пытаюсь заглушить голос собственной совести.

Он умер в одной из клиник Берлина от неоперабельного рака простаты. За несколько дней до этого мне позвонил Костя и сказал, что поскольку Андрей безнадёжен, ему разрешили пользоваться телефоном и я могу позвонить ему. У меня не хватило духа поговорить с ним, но я сразу связался с Машей и дал ей номер его мобильного. Она не раз просила меня об этом, как она сказала однажды: «Просто хочу услышать его голос». Он уже почти не мог говорить и прохрипел только два слова: «Маша! Машенька...», но вложил в них столько, что она разрыдалась и плакала так, что не могла остановиться. А он слушал, слушал, слушал...

Когда я думаю о последних днях и часах жизни Андрея, мне вспоминается заключительная сцена телевизионного фильма Владимира Бортко «Идиот» — Елизавета Прокофьевна Епанчина в психиатрической клинике у князя Мышкина. Я видел картину не один раз, но до сих пор не могу смотреть ее финал без волнения. Не потому, что он сыгран Мироновым на уровне подлинной гениальности, а потому, что Бортко и Миронову удалось выразить то, что невозможно передать доступными человеку средствами, — запредельную опустошенность человеческой души, выжженной испепеляющим пламенем житейских страстей. Но если перед праведником Мышкиным простирался горный ландшафт вечной благодати, то Колчанову открылась черная бездна небытия. А когда, в смятении и ужасе отшатнувшись от нее, он, как сказано в книге Экклезиаста, «оглянулся на дела свои», то не увидел ничего, кроме попранных им привязанностей, поруганного достоинства, жестокости, зависти, лицемерия, лжи. И когда я думаю о последних днях и часах жизни Андрея, меня охватывает беспросветная тоска.